

ЭМИЛЬ ДЮРКГЕЙМ

СОЦИОЛОГИЯ. ЕЕ ПРЕДМЕТ, МЕТОД И НАЗНАЧЕНИЕ

ББК 60.5 Д97

ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ В ПАМЯТНИКАХ *Серия основана в 1993 г.*

Редакционная коллегия: *В. М. Бакусев* (зам. председателя), *Ю. В. Божко*,

А. Б. Гофман, *В. М. Родин*, *В. В. Сапов*, *Н. Д. Саркитов* (председатель), *Л. С. Чибисенков*

Перевод с французского *А. Б. Гофмана* Художник *Ю. В. Сенин*

Дюркгейм Э.

Д 97 Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, послесловие и примечания А. Б. Гофмана.— М.: Канон, 1995.— 352 с.— (История социологии в памятниках)

ISBN 5-88373-037-X

ISBN 5-88373-037-X © Издательство «Канон», 1995

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МЕТОД СОЦИОЛОГИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Когда эта книга появилась в первый раз, она вызвала довольно оживленную полемику. Общепринятые воззрения, оказавшись как бы в замешательстве, вначале оборонялись столь энергично, что в течение какого-то времени нам было почти невозможно быть услышанными. Даже в тех вопросах, в которых мы выражались наиболее ясно, нам безосновательно приписывали взгляды, не имеющие с нашими ничего общего; при этом думали, что, опровергая эти взгляды, опровергают наши. В то время как мы многократно заявляли, что с нашей точки зрения сознание, как социальное, так и индивидуальное, представляет собой отнюдь не субстанцию, но лишь более или менее систематизированную совокупность явлений *sui generis*, нас обвинили в реализме и онтологизме. В то время как мы ясно сказали и на все лады повторяли, что социальная жизнь целиком состоит из представлений, нас обвинили в исключении из социологии психического элемента. Дошли даже до того, что против нас стали возрождать способы полемики, которые можно было считать окончательно похороненными. Нам приписали взгляды, которых мы не высказывали, под предлогом, что они «соответствуют нашим принципам». Опыт, однако, доказал всю опасность этого метода, который, позволяя произвольно конструировать обсуждаемые теории, позволяет также без труда одерживать над ними победы. Мы вряд ли ошибемся, если скажем, что с тех пор противодействие постепенно ослабело. Конечно, немало наших утверждений еще оспаривается. Но мы не станем ни удивляться этим благотворным спорам, ни жаловаться на них; ведь ясно, что наши утверждения в будущем должны быть пересмотрены. Будучи обобщением личной и весьма ограниченной практики, они непременно должны будут эволюционировать по мере того, как будет расширяться и углубляться опыт постижения социальной реальности. Впрочем, все создаваемое в области метода носит лишь временный характер, так как методы меняются по мере развития науки. Тем не менее вопреки противодействию на протяжении последних лет дело объективной, специфической и методической социологии непрерывно

завоевывало все новые позиции. Несомненно, этому во многом содействовало создание журнала «L'Annee sociologique». Охватывая одновременно сферу всей науки, журнал лучше, чем любой специальный труд, смог сформировать понимание того, чем должна и может стать социология. Таким образом, возникла возможность увидеть, что она не обречена оставаться отраслью общей философии, что она способна тесно соприкоснуться с конкретными фактами, не превращаясь просто в упражнения в области эрудиции. Поэтому необходимо воздать должное усердию и самоотверженности наших сотрудников; именно благодаря им это доказательство посредством факта могло быть начато и может продолжаться.

Тем не менее, как бы ни был реален отмеченный прогресс, прошлые заблуждения и путаница еще не полностью рассеяны. Вот почему мы хотим воспользоваться этим вторым изданием, чтобы добавить несколько объяснений ко всем тем, что мы уже дали, ответить на некоторые критические замечания и внести по некоторым вопросам дополнительные уточнения.

I

Положение, согласно которому социальные факты должны рассматриваться как вещи,— положение, лежащее в самой основе нашего метода,— вызвало больше всего возражений. То, что мы уподобляем реальность социального мира реальностям мира внешнего, нашли парадоксальным и возмутительным. Это значит глубоко заблуждаться относительно смысла и значения данного уподобления, цель которого — не низвести высшие формы бытия до уровня низших форм, но, наоборот, востребовать для первых уровня реальности, по крайней мере равного тому, который все признают за вторыми. На самом деле мы не утверждаем, что социальные факты — это материальные вещи; это вещи того же ранга, что и материальные вещи, хотя и на свой лад.

Что такое в действительности вещь? Вещь противостоит идее, как то, что познается извне, тому, что познается изнутри. Вещь — это всякий объект познания, который сам по себе непроницаем для ума; это все, о чем мы не можем сформулировать себе адекватного понятия простым приемом мысленного анализа; это все, что ум может понять только при условии, выхода за пределы самого себя, путем наблюдений и экспериментов, последовательно переходя от наиболее внешних и непосредственно доступных признаков к менее видимым и более глубоким. Рассматривать факты определенного порядка как вещи — не значит зачислять их в ту или иную категорию реальности; это значит занимать по отношению к ним определенную мыслительную позицию. Это значит приступить к их изучению, исходя из принципа, что мы ничего не знаем о том, что они собой представляют, а их характерные свойства, как и неизвестные причины, от которых они зависят, не могут быть обнаружены даже самой внимательной интроспекцией.

Если определить термины таким образом, то наше утверждение, отнюдь не будучи парадоксом, могло бы считаться почти трюизмом, если бы оно еще слишком часто не отвергалось в науках о человеке, особенно в социологии. Действительно, в этом смысле можно сказать, что всякий объект науки есть вещь, за исключением, может быть, математических объектов. Что касается последних, то, поскольку мы сами конструируем их, от самых простых до самых сложных, нам, чтобы знать их, достаточно смотреть внутрь себя и внутри анализировать мыслительный процесс, из которого они проистекают. Но если речь идет о фактах в собственном смысле, то, когда мы приступаем к их научному исследованию, они обязательно являются для нас неизвестными, неведомыми *вещами*, так как представления о них, возникшие в жизни, сформированные без методического и критического анализа, лишены научной ценности и должны быть устранены. Даже факты, относящиеся к индивидуальной психологии, отличаются этим признаком и должны рассматриваться под этим же углом зрения. Действительно, хотя они, по определению, и внутренние для нас, наше сознание не обнаруживает нам ни их

внутреннюю сущность, ни генезис. Оно позволяет нам знать их, но только до определенной степени, так же как ощущения дают нам знать о теплоте или свете, звуке или электричестве; оно дает нам о них смутные, мимолетные, субъективные впечатления, а не ясные, четкие, объясняющие понятия. Именно по этой причине в течение этого столетия сформировалась объективная психология, основное правило которой — исследовать факты сознания извне, т. е. как вещи. Тем более так должно быть с социальными фактами, так как сознание не может быть более компетентным в их познании, чем в познании своего собственного существования¹.

¹ Мы видим, что, выдвигая это положение, нет необходимости утверждать, что социальная жизнь состоит из чего-то помимо представлений; достаточно утверждения, что представления, индивидуальные или коллективные, могут исследоваться научно только при условии, что они исследуются объективно.

Могут возразить, что поскольку они — дело наших рук, то нам достаточно осознать самих себя, чтобы узнать, что мы в них вложили и как мы их сформировали. Но, прежде всего, наибольшая часть социальных институтов передана нам в совершенно готовом виде предшествующими поколениями; мы не приняли никакого участия в их формировании, и, следовательно, обращаясь к себе, мы не сможем обнаружить породившие их причины. Кроме того, даже тогда, когда мы соучаствовали в их возникновении, мы едва сможем, смутно и чаще всего неточно, разглядеть подлинные причины, заставившие нас действовать, и природу наших действий. Даже тогда, когда речь идет просто о наших частных поступках, мы очень плохо представляем себе относительно простые мотивы, управляющие нами. Мы считаем себя бескорыстными, тогда как действуем как эгоисты; мы уверены, что подчиняемся ненависти, когда уступаем любви, разуму — когда являемся пленниками бессмысленных предрассудков, и т. д. Как же сможем мы яснее различать значительно более сложные причины, от которых зависят поступки группы? Ведь участие каждого в ней составляет лишь ничтожную часть; существует масса других членов группы, и то, что происходит в их сознаниях, ускользает от нас.

Таким образом, наше правило не включает в себе никакой метафизической концепции, никакой спекуляции относительно основы бытия. Оно требует только одного: чтобы социолог погрузился в состояние духа, в котором находятся физики, химики, физиологи, когда они вступают в новую, еще не исследованную область своей науки. Нужно, чтобы, проникая в социальный мир, он осознавал, что вступает в неизведанное. Нужно, чтобы он чувствовал, что находится в присутствии фактов, законы которых неизвестны так же, как неизвестны были законы жизни до создания биологии. Нужно, чтобы он был готов совершить открытия, которые его поразят, приведут в замешательство. Но социология далека от этой степени интеллектуальной зрелости. В то время как ученый, исследующий физическую природу, обладает весьма острым ощущением сопротивления, которое она оказывает ему и которое ему так трудно преодолеть, кажется, что социолог движется среди вещей, непосредственно данных и прозрачных для ума, настолько велика легкость, с которой, как мы видим, он готов решать самые запутанные вопросы. В современном состоянии научного знания мы даже не знаем доподлинно, что представляют собой основные социальные институты, такие, как государство или семья, право собственности или договор, наказание и ответственность. Мы почти совсем не знаем их причин, выполняемых ими функций, законов их эволюции; в некоторых вопросах мы едва начинаем видеть какие-то проблески. И однако достаточно бегло просмотреть труды по социологии, чтобы увидеть, насколько редко встречается ощущение этого неведения и отмеченных трудностей. Мало того, что считают как бы своей обязанностью поучать по всем проблемам одновременно, но думают, что можно на нескольких страницах или в нескольких фразах постигнуть самую сущность самых сложных явлений. Это значит, что подобные теории выражают не факты, которые не могут быть исчерпаны столь поспешно, но предвзятое понятие о фактах, которое существовало у автора до исследования.

Конечно, идея, которую мы себе создаем о коллективных обычаях, о том, что они собою представляют или чем они должны быть, есть фактор их развития. Но сама данная идея — это факт, который также следует изучать извне, чтобы подобающим образом его определить. Ведь важно узнать не то, каким образом тот или иной мыслитель лично представляет себе такой-то институт, но понимание этого института группой; только такое понимание действенно. Но оно не может познаваться простым внутренним наблюдением, поскольку целиком оно не находится ни в ком из нас; нужно, стало быть, найти какие-то внешние признаки, которые делают его осязательным. Кроме того, это понимание не родилось из ничего; само оно — следствие внешних причин, которые нужно знать, чтобы иметь возможность оценить его роль в будущем. Таким образом, что бы мы ни делали, нам постоянно необходимо обращаться к тому же методу.

II

Другое положение дебатировалось не менее оживленно, чем предыдущее; оно характеризует социальные явления как внешние по отношению к индивидам. С нами теперь охотно соглашались, что факты индивидуальной и коллективной жизни в какой-то степени разнородны. Можно даже сказать, что по этому вопросу формируется если не единодушное, то, по крайней мере, весьма широкое согласие. Уже почти нет социологов, которые бы отказывали социологии в какой бы то ни было специфике. Но поскольку общество состоит только из индивидов², то с позиции здравого смысла кажется, что социальная жизнь не может иметь иного субстрата, кроме индивидуального сознания; иначе она кажется висящей в воздухе и плывущей в пустоте.

² Это утверждение, впрочем, не совсем точно. Помимо индивидов существуют вещи, также образующие элементы общества. Верно лишь то, что индивиды являются его единственными активными элементами.

Однако то, что так легко считается невозможным, когда речь идет о социальных фактах, обычно допускается в отношении других природных сфер. Всякий раз, когда какие-либо элементы, комбинируясь, образуют фактом своей комбинации новые явления, нужно представлять себе, что эти явления располагаются уже не в элементах, а в целом, образованном их соединением.

Живая клетка не содержит в себе ничего, кроме минеральных частиц, подобно тому как общество ничего не содержит в себе вне индивидов. И тем не менее совершенно очевидно, что характерные явления жизни не заключаются в атомах водорода, кислорода, углерода и азота. И как жизненные движения могли бы возникнуть внутри неживых элементов? Как к тому же биологические свойства распределились бы между этими элементами? Они не могли бы обнаруживаться одинаково у всех, поскольку эти элементы различны по своей природе; углерод — не азот и, следовательно, не может ни обладать теми же свойствами, ни играть ту же роль. Так же трудно предположить, чтобы каждый аспект жизни, каждый из ее главных признаков был воплощен в отдельной группе атомов. Жизнь не может разлагаться таким образом; она едина и, следовательно, может иметь своим местонахождением только живую субстанцию в ее целостности. Она в целом, а не в частях. Отнюдь не неживые частицы клетки питаются, воспроизводятся — одним словом, живут; живет сама клетка, и только она. И то, что мы говорим о жизни, можно повторить о всех возможных синтезах. Твердость бронзы не заключена ни в меди, ни в олове, ни в свинце, послуживших ее образованию и являющихся мягкими и гибкими веществами; она в их смешении. Текучесть воды, ее пищевые и прочие свойства сосредоточены не в двух газах, из которых она состоит, но в сложной субстанции, образуемой их соединением.

Применим этот принцип к социологии. Если указанный синтез *sui generis*, образующий всякое общество, порождает новые явления, отличные от тех, что имеют место в отдельных сознаниях (и в этом с нами согласны), то нужно также допустить, что эти специфические факты заключаются в том самом обществе, которое их создает, а не в его

частях, т. е. в его членах. В этом смысле, следовательно, они являются внешними по отношению к индивидуальным сознаниям, рассматриваемым как таковые, точно так же, как отличительные признаки жизни являются внешними по отношению к минеральным веществам, составляющим живое существо. Невозможно растворять их в элементах, не противореча себе, поскольку, по определению, они предполагают нечто иное, чем то, что содержится в этих элементах. Таким образом, получает новое обоснование установленное нами далее разделение между психологией в собственном смысле, или наукой о мыслящем индивиде, и социологией. Социальные факты не только качественно отличаются от фактов психических; у них другой субстрат, они развиваются в другой среде и зависят от других условий. Это не значит, что они также не являются некоторым образом психическими фактами, поскольку все они состоят в каких-то способах мышления и действия. Но состояния коллективного сознания по сути своей отличаются от состояний сознания индивидуального; это представления другого рода. Мышление групп иное, нежели отдельных людей; у него свои собственные законы. Обе науки поэтому настолько явно различны, насколько могут различаться науки вообще, какие бы связи между ними ни существовали.

В этом вопросе, однако, уместно провести одно различие, которое, возможно, несколько проясняет суть спора. Для нас совершенно очевидно, что *материя* социальной жизни не может объясняться чисто психологическими факторами, т. е. состояниями индивидуального сознания. Действительно, коллективные представления выражают способ, которым группа осмысливает себя в своих отношениях с объектами, которые на нее влияют. Но группа устроена иначе, чем индивид, и влияющие на нее объекты — иные по своей сути. Представления, которые не выражают ни тех же субъектов, ни те же объекты, не могут зависеть от тех же причин. Чтобы понять, каким образом общество представляет себе самого себя и окружающий его мир, необходимо рассматривать сущность не отдельных индивидов, а общества. Символы, в которых оно осмысливает себя, меняются в зависимости от того, что оно собой представляет. Если, например, оно воспринимает себя как происшедшее от животного, чье имя оно носит, значит, оно образует одну из специфических групп, называемых кланом. Там же, где животное заменено человеческим, но также мифическим предком, клан изменил свою сущность. Если над местными или семейными божествами общество помещает другие божества, от которых считает себя зависимым, то это происходит потому, что местные и семейные группы, из которых оно состоит, стремятся к концентрации и объединению, и степень единства религиозного пантеона соответствует степени единства, достигнутого обществом в то же время. Если оно осуждает некоторые способы поведения, то потому, что они задевают какие-то его основные чувства, а эти чувства связаны с его устройством так же, как чувства индивида с его физическим темпераментом и умственным складом. Таким образом, даже тогда, когда у индивидуальной психологии больше не будет от нас секретов, она не сможет предложить нам решение ни одной из отмеченных проблем, поскольку они относятся к категориям фактов, которые ей неизвестны.

Но как только эта разнородность признана, можно задаться вопросом: не сохраняют ли тем не менее индивидуальные представления и коллективные представления сходства благодаря тому, что и те и другие в равной мере являются представлениями, и не существуют ли вследствие этих сходств некоторые абстрактные законы, общие для обоих миров? Мифы, народные предания, всякого рода религиозные воззрения, нравственные верования и т. п. выражают не индивидуальную реальность; но бывает, что способы, которыми они притягиваются или отталкиваются, соединяются или разъединяются, независимы от их содержания и обусловлены исключительно их общим свойством представлений. Будучи сделаны из разной материи, они будут в своих взаимоотношениях вести себя так же, как ощущения, образы или понятия у индивида. Нельзя ли, например, предположить, что логические сопряженность и сходство, противоречия и антагонизмы могут действовать одинаково, каковы бы ни были представляемые вещи? Мы приходим,

таким образом, к пониманию возможности сугубо формальной психологии, которая была бы чем-то вроде общей территории для индивидуальной психологии и социологии. Возможно, именно из-за этого некоторые умы испытывают колебания перед необходимостью четкого различения этих двух наук. Строго говоря, при нынешнем состоянии наших познаний вопрос, поставленный таким образом, не может быть однозначно разрешен. Действительно, с одной стороны, все, что мы знаем о способах, которыми комбинируются индивидуальные понятия, сводится к нескольким весьма общим и расплывчатым положениям, обычно называемым законами ассоциации идей. А что касается законов коллективного образования понятий, то они тем более неизвестны. Социальная психология, задачей которой должно бы было быть установление этих законов, скорее является лишь словом, обозначающим всякого рода общие рассуждения, разноречивые, неточные и без определенного объекта. А нужно бы было посредством сравнения мифологических тем, народных преданий и традиций, языков исследовать, каким образом социальные представления нуждаются друг в друге или несовместимы друг с другом, смешиваются между собой или различаются и т. д. В общем, если проблема и заслуживает внимания исследователей, то едва ли можно сказать, что к ней прикасались; а пока не будут найдены какие-то из этих законов, очевидно, будет невозможно достоверно узнать, повторяют они законы индивидуальной психологии или нет.

Хотя и не достоверно, но, по крайней мере, вероятно существование не только сходств между этими двумя видами законов, но и не менее важных различий. В самом деле, невозможно предположить, чтобы содержание представлений не оказывало воздействия на способы их комбинаций. Правда, психологи говорят иногда о законах ассоциации идей так, как если бы они были одинаковыми для всех видов индивидуальных представлений. Но нет ничего менее правдоподобного: образы сочетаются между собой не так, как ощущения, а понятия — не так, как образы. Если бы психология была более развита, она бы несомненно установила, что каждой категории психических состояний присущи свои особые законы. Если это так, то надо *a fortiori* предположить, что соответствующие законы социального мышления будут специфическими, как и само это мышление. Если в действительности хоть немного иметь дело с данной категорией фактов, трудно не ощутить эту специфику. Не благодаря ли ей, в самом деле, нам кажутся столь странными особые способы, которыми религиозные воззрения (являющиеся прежде всего коллективными) смешиваются или разделяются, превращаются друг в друга, образуя противоречивые соединения, контрастирующие с обычными результатами нашего индивидуального мышления? Если же, как можно предположить, некоторые законы социального мышления действительно напоминают те, которые устанавливает психологи, то это не потому, что первые — просто частный случай последних, но потому, что между теми и другими наряду с несомненно важными различиями имеются сходства, которые абстрактно можно выявить и которые, впрочем, пока неизвестны. Это значит, что в любом случае социология не сможет просто заимствовать у психологии то или иное положение, чтобы применить его в готовом виде к изучению социальных фактов. Коллективное мышление целиком, как его форма, так и содержание, должно изучаться само по себе, для самого себя, с ощущением того, что в нем есть специфического, и нужно оставить на будущее заботу о том, чтобы обнаружить, в какой мере оно подобно мышлению отдельных людей. В сущности, эта проблема относится скорее к общей философии и абстрактной логике, чем к научному исследованию социальных фактов³.

³ Нет нужды демонстрировать, как с этой точки зрения необходимость исследовать факты извне становится еще более очевидной, поскольку они являются результатом синтеза, о котором мы не имеем даже того смутного представления, которое сознание может создать у вас о внутренних явлениях.

III

Нам остается сказать несколько слов об определении социальных фактов, которое мы даем в первой главе. На наш взгляд, они состоят в способах действий или мышления, распознаваемых по тому свойству, что они способны оказывать на отдельные сознания принуждающее воздействие. По этому поводу возникла путаница, которую стоит отметить.

Привычка применять к социологическим предметам формы философского мышления настолько укоренилась, что в этом предварительном определении часто видели нечто вроде философии социального факта. Было сказано, что мы объясняем социальные явления принуждением, точно так же, как Тард объясняет их подражанием. У нас нет подобного стремления, и нам даже не приходило на ум, что можно будет нам его приписывать, настолько оно противоречит всякому методу. Мы предложили не предвосхищение философским взглядом выводов науки, а просто определение того, по каким внешним признакам можно узнавать подлежащие научному исследованию факты, чтобы ученый мог замечать их там, где они существуют, и не смешивал их с другими фактами. Речь шла о том, чтобы ограничить поле исследования настолько, насколько возможно, а не пытаться охватить все чем-то вроде всеохватывающего предчувствия. Поэтому мы весьма охотно принимаем адресованный этому определению упрек, что оно выражает не все признаки социального факта и, следовательно, не является единственно возможным. Действительно, нет ничего немислимого в том, что он может характеризоваться самыми различными способами, так как нет никаких оснований для того, чтобы у него было лишь одно отличительное свойство⁴.

⁴ Принудительная власть, которую мы ему приписываем, даже столь мало отражает в себе целостность социального факта, что он может в равной мере содержать в себе и противоположный признак. Институты навязываются нам, но вместе с тем мы и дорожим ими; они обязывают нас, а мы любим их; они принуждают нас, а мы находим выгоду в их функционировании и в самом этом принуждении. Это та самая часто отмечавшаяся моралистами антитеза между понятиями блага и долга, которые выражают две различные, но одинаково реальные стороны нравственной жизни. Не существует, вероятно, коллективных обычаев, которые бы не оказывали на нас этого двойственного воздействия, впрочем противоречивого лишь внешне. Мы не определяли их этой особой привязанностью, одновременно корыстной и бескорыстной, просто потому, что она не проявляется во внешних, легко воспринимаемых признаках. Благо содержит в себе нечто более внутреннее, более интимное, чем долг, и, следовательно, менее уловимое.

Важно лишь выбрать то из них, которое наилучшим образом подходит поставленной цели. Весьма возможно даже использование нескольких критериев соответственно обстоятельствам. И мы признавали это иногда необходимым в социологии, так как встречаются случаи, когда принудительный характер факта нелегко обнаружить. Все, что требуется, поскольку речь идет о первоначальном определении,— это чтобы используемые характеристики были непосредственно различимы и могли быть замечены до исследования. Но именно этому условию не соответствуют определения, которые иногда противопоставлялись нашему. Утверждалось, например, что социальный факт — это «все, что производится в обществе и обществом», или же «то, что интересует группу и влияет на нее каким-то образом». Но является или нет общество причиной факта, или же этот факт имеет социальные последствия, можно узнать только тогда, когда научное исследование уже продвинулось достаточно далеко. Подобные определения, стало быть, не могут служить определению объекта начинающегося исследования. Чтобы можно было ими воспользоваться, нужно было бы, чтобы исследование социальных фактов уже достаточно далеко продвинулось и, следовательно, чтобы было обнаружено какое-то другое предварительное средство их распознавания.

Одновременно с тем, что наше определение нашли слишком узким, было обнаружено, что оно слишком широкое и охватывает почти всю реальность. Утверждалось, в самом деле, что всякая физическая среда оказывает принуждение в отношении существ, испытывающих ее воздействие, так как они вынуждены в определенной мере к ней адаптироваться. Но эти два вида принуждения разделены между собой так же радикально, как среда физическая и среда нравственная. Давление, оказываемое одним или несколькими телами на другие тела или даже на воли, нельзя смешивать с давлением, оказываемым сознанием группы на сознания ее членов. Специфика социального принуждения состоит в том, что оно обусловлено не жесткостью определенных молекулярных устройств, а престижем, которым наделены некоторые представления. Правда, приобретенные или унаследованные привычки в некоторых отношениях обладают тем же свойством, что и физические факторы. Они господствуют над нами, навязывают нам верования или обычаи. Но они господствуют над нами изнутри, так как целиком заключены в каждом из нас. Социальные же верования и обычаи, наоборот, действуют на нас извне; поэтому влияние, оказываемое теми и другими, весьма различно. Впрочем, не нужно удивляться тому, что другие явления природы в других формах содержат тот же признак, которым мы определили социальные явления. Это сходство происходит просто оттого, что и те и другие представляют собой реальные явления. А все, что реально, обладает определенной природой, которая навязывается, с которой надо считаться и которая, даже тогда, когда удастся нейтрализовать ее, никогда не оказывается полностью побежденной. В сущности, это самое существенное в понятии социального принуждения. Все, что оно в себе заключает,— это то, что коллективные способы действия или мышления существуют реально вне индивидов, которые постоянно к ним приспособляются. Это вещи, обладающие своим собственным существованием. Индивид находит их совершенно готовыми и не может сделать так, чтобы их не было или чтобы они были иными, чем они являются. Он вынужден поэтому учитывать их существование, и ему трудно (мы не говорим: невозможно) изменить их, потому что в различной степени они связаны с материальным и моральным превосходством общества над его членами. Несомненно, индивид играет определенную роль в их возникновении. Но чтобы существовал социальный факт, нужно, чтобы, по крайней мере, несколько индивидов соединили свои действия и чтобы эта комбинация породила какой-то аввнгрезультат. А поскольку этот синтез имеет место вне каждого из нас, так как он образуется из множества сознаний, то он непременно имеет следствием закрепление, установление вне нас определенных способов действий и суждений, которые не зависят от каждой отдельно взятой воли. Как было ранее отмечено⁵, есть слово, которое, если несколько расширить его обычное значение, довольно хорошо выражает этот весьма специфический способ бытия; это слово «институт». В самом деле, не искажая смысла этого выражения, можно назвать *институтом* все верования, все поведения, установленные группой. Социологию тогда можно определить как науку об институтах, их генезисе и функционировании⁶.

⁵ См. статью Фоконне и Мосса «Социология» в «La Grande Encyclopedic».

⁶ Из того, что социальные верования и обычаи проникают в нас извне, не следует, что мы пассивно воспринимаем их, не подвергая их изменениям. Осмысляя коллективные институты, приспособлявая их к себе, мы их индивидуализируем, мы так или иначе отмечаем их своей личной меткой. Таким образом, осмысляя чувственно данный мир, каждый из нас окрашивает его на свой манер, и различные субъекты по-разному адаптируются к одной и той же физической среде. Вот почему каждый из нас в какой-то мере создает себе *свою* мораль, *тою* религию, *свою* технику. Не существует такого социального сходства, которое бы не содержало в себе целой гаммы индивидуальных оттенков. Тем не менее область дозволенных отклонений ограничена. Она ничтожна или очень незначительна в религиозных и нравственных явлениях, где отклонение легко становится преступлением. Она более обширна во всем, что касается экономической

жизни. Но раньше или позже, Даже в последнем случае, мы сталкиваемся с границей, которую нельзя переступить.

К другим спорам, вызванным этой работой, нам кажется, не стоит обращаться, так как они не затрагивают ничего существенного. Общая направленность метода не зависит от приемов, которые предпочитают использовать либо для классификации социальных типов, либо для различения нормального и патологического. Впрочем, возражения часто основывались на том, что отказывались принимать или же принимали с оговорками наш основной принцип: объективную реальность социальных фактов. А в конечном счете именно на этом принципе все основано и все к нему сводится. Вот почему нам показалось полезным неоднократно подчеркивать его, очищая его от всяких второстепенных вопросов. И мы уверены, что, приписывая ему столь важную роль, мы остаемся верны социологической традиции, так как, в сущности, это та концепция, от которой произошла вся социология. Эта наука в действительности могла родиться только в тот день, когда появилось предчувствие, что социальные явления, не будучи материальными, все же представляют собой реальные вещи, допускающие исследование. Чтобы прийти к мысли, что надо исследовать, что они собой представляют, необходимо было понять, что они существуют определенным образом; что они имеют постоянный способ существования и особую природу, не зависящую от индивидуального произвола; что они возникают из необходимых отношений. Поэтому история социологии есть лишь длительное усилие с целью уточнить это чувство, углубить его, развернуть все вытекающие из него следствия. Но, как мы увидим в связи с данной работой, несмотря на значительные успехи, достигнутые на этом пути, сохраняется еще множество пережитков антропоцентрического постулата, который здесь, как и в других местах, преграждает дорогу науке. Человеку неприятно отказываться от неограниченной власти над социальным строем, которую он себе так долго приписывал, а с другой стороны, ему кажется, что, если коллективные силы действительно существуют, он непременно обречен испытывать их воздействие, не имея возможности их изменить. Именно это склоняет его к их отрицанию. Напрасно опыт учит его, что это всемогущество, иллюзию которого он охотно в себе поддерживает, всегда было для него причиной слабости; что его власть над вещами реально начинается только с того момента, когда он признает, что они обладают своей собственной природой и когда он станет смиренно узнавать у них, что они собою представляют. Изгнанный из всех других наук, этот достойный сожаления предрассудок упорно держится в социологии. Поэтому нет ничего более насущного, чем постараться окончательно освободить от него нашу науку. И в этом состоит основная цель наших усилий.

Научно обсуждать социальные факты — дело столь необычное, что некоторые положения этой книги рискуют удивить читателя. Однако если есть наука об обществах, то она, надо ожидать, должна быть не простым перепевом традиционных предрассудков, а должна показать нам вещи в ином виде, чем они представляются непосвященному. Всякая наука стремится к открытиям, а всякое открытие расшатывает в известной мере установившиеся мнения. Следовательно, если не приписывать житейскому здравому смыслу такой авторитет в социологии, каким он давно уже не пользуется в других науках (а неизвестно, откуда бы этому авторитету вообще взяться), то ученый должен бесповоротно решиться не пугаться тех выводов, к которым приводят его исследования, если последние проводились методически правильно. Если поиск парадоксов — дело софиста, то бегство от них, когда они навязываются фактами, есть доказательство ума трусливого или не верящего в науку.

К сожалению, легче признать этот принцип теоретически, нежели настойчиво применять его на практике. Мы слишком привыкли еще решать все эти вопросы, руководствуясь внушением здравого смысла, так что нам нелегко держаться вдали от него в социологических вопросах. Даже тогда, когда мы считаем себя свободными от его влияния, он незаметно внушает нам свои решения. Лишь путем долгой и специальной практики можно

предохранить себя от подобной слабости. Вот это мы и просим читателя не терять из виду. Пусть он постоянно помнит, что те мыслительные приемы, к которым он больше всего привык, скорее вредны, чем благоприятны для научного исследования социальных явлений, и что, следовательно, он должен осторожно относиться к своим первым впечатлениям. Если он отдастся им без сопротивления, то рискует судить о нас, не поняв нас. Так, нас могли бы обвинить в желании оправдать преступление на том основании, что мы считаем его нормальным социологическим явлением. Возражение это, однако, было бы наивным, так как если нормально, чтобы в каждом обществе совершались преступления, то не менее нормально и то, что они наказывались. Принятие репрессивных мер — факт не менее универсальный, чем существование преступности, не менее необходимый для общественного благополучия. Для того чтобы не было преступлений, нужна была бы такая нивелировка индивидуальных сознаний, которая по причинам, изложенным ниже, невозможна и нежелательна. Но, для того чтобы не было репрессивных мер, необходимо было бы отсутствие нравственной однородности, несовместимое с существованием общества. Исходя из того факта, что преступление гнусно и вызывает отвращение, здравый смысл ошибочно заключает, что оно должно совершенно исчезнуть. Склонный к упрощению, он не понимает, что явление, вызывающее отвращение, вместе с тем может иметь некоторое полезное основание; при этом здесь нет никакого противоречия. Разве в организме нет весьма непривлекательных функций, правильное отправление которых необходимо, однако, для здоровья индивида? Разве мы не ненавидим страдание? А между тем существо, незнакомое с ним, было бы уродом. Нормальность какого-либо явления и вызываемое им чувство отвращения могут быть даже тесно взаимосвязаны. Если страдание есть нормальный факт, то лишь при условии, что оно не возбуждает любви; если преступление нормально, то лишь при условии, что оно возбуждает ненависть¹.

Но, могут нам возразить, если здоровье заключает в себе ненавистные элементы, то как же считать его, как мы это делаем ниже, непосредственной целью поведения? Здесь, однако, нет никакого противоречия. Беспреданно случается, что какое-нибудь явление, будучи вредным некоторыми из своих следствий, другими, наоборот, полезно и даже необходимо для жизни. Если же его дурные следствия регулярно нейтрализуются противоположным влиянием, то фактически оно служит, не принося вреда. Однако оно по-прежнему ненавистно, так как само по себе представляет возможную опасность, предотвращаемую лишь действием враждебной силы. Таково и преступление: вред, приносимый им обществу, уничтожается наказанием, если последнее правильно функционирует. Таким образом, не производя возможного для него зла, оно поддерживает с основными условиями социальной жизни полезные отношения, которые мы отметим впоследствии. Но так как безвредным оно делается, так сказать, вопреки себе, то вызываемое им чувство отвращения не лишено основания.

² Это значит, что его не следует смешивать с позитивистской метафизикой Конта и Спенсера.

Наш метод, следовательно, не заключает в себе ничего революционного. В известном смысле он даже консервативен, так как признает, что природа социальных фактов, как бы гибка и податлива она ни была, не может, однако, произвольно подвергаться изменениям. Насколько же опаснее доктрина, видящая в социальных фактах продукт умственных комбинаций, который в один момент может быть разрушен до основания простым диалектическим приемом!

Точно так же, привыкнув представлять себе социальную жизнь как логическое развитие идеальных концепций, сочтут, быть может, грубым тот метод, который ставит общественную эволюцию в зависимость от объективных, пространственно определенных условий, и возможно, что нас признают материалистами. Между тем с большим основанием мы могли бы требовать себе противоположного наименования.

Действительно, не заключается ли сущность спиритуализма в той идее, что психические явления не могут быть непосредственно выведены из явлений органических? Наш же метод является отчасти лишь приложением этого принципа к социальным фактам. Так же как спиритуалисты отделяют мир психических явлений от явлений биологических, мы отделяем первые от явлений социальных; как и они, мы отказываемся объяснять наиболее сложное наиболее простым. Однако, говоря по правде, ни то ни другое название не подходит к нам вполне, и мы принимаем лишь название «рационализм». Действительно, наше главное намерение состоит в том, чтобы распространить на человеческое поведение научный рационализм, показав, что рассматриваемое в своем прошлом это поведение сводится к отношениям причины и следствия, которые не менее рациональным приемом могут быть затем превращены в правила деятельности для будущего. То, что назвали нашим позитивизмом, есть лишь следствие этого рационализма². Пытаться выйти за пределы фактов с целью объяснить их или управлять ими можно лишь в той мере, в какой их считают иррациональными. Если они вполне понятны, то их достаточно как для науки, так и для практики; для науки — потому что тогда нет основания искать вне их причины их существования; для практики — потому что их полезность является одной из этих причин. Нам представляется, таким образом, что особенно в наше время возрождающегося мистицизма подобное предприятие может и должно быть принято спокойно и даже с симпатией всеми теми, кто, расходясь с нами в известных пунктах, разделяет нашу веру в будущее разума.

ВВЕДЕНИЕ

До сих пор социологи мало занимались характеристикой и определением метода, применяемого ими при изучении социальных фактов. Так, во всех трудах Спенсера проблема метода не занимает никакого места, а его сочинение «Введение в изучение социологии», заглавие которого могло бы ввести в заблуждение, посвящено разъяснению трудностей и возможностей социологии, а не изложению тех приемов, которыми она должна была бы пользоваться. Милль, правда, довольно много занимался этим вопросом¹, но он только пропустил сквозь решето своей диалектики то, что было уже высказано Контом по этому поводу, не прибавив от себя ничего нового. Следовательно, глава из курса позитивной философии — вот почти единственное оригинальное и значительное исследование, которое мы имеем по данному вопросу².

¹ Systeme de Logique, I, VI, Ch. VI-XII.

² Cours de philosophie positive. 2^e ed., p. 294-336.

В этой явной беспечности нет, впрочем, ничего удивительного. Действительно, великие социологи, имена которых мы сейчас упомянули, не вышли еще за пределы общих соображений о природе обществ, об отношениях мира социальных явлений и явлений биологических, об общем ходе прогресса. Даже обширная социология Спенсера имеет целью лишь показать, каким образом закон всеобщей эволюции применяется к обществам. Для того же, чтобы рассматривать эти философские вопросы, не нужно специальных и сложных приемов. Поэтому социологи и довольствовались взвешиванием сравнительных достоинств дедукции и индукции и краткой справкой относительно самых общих средств, которыми располагает социологическое исследование. Но предосторожности, с которыми нужно наблюдать факты, способ постановки главнейших проблем, направление, в котором должны вестись исследования, специальные приемы, позволяющие доводить эти исследования до конца, наконец, правила относительно доказательств — все это не было определено.

Благодаря счастливому стечению обстоятельств, в первом ряду которых надо поставить учреждение для нас постоянного курса социологии при филологическом факультете в Бордо, мы могли рано посвятить себя изучению социальной науки и сделать ее даже предметом наших профессиональных занятий; благодаря этим обстоятельствам мы смогли

выйти за пределы слишком общих вопросов и затронуть некоторые частные проблемы. Сами обстоятельства вынудили нас выработать себе метод более определенный и, думается, более приспособленный к особой природе социальных явлений. Вот эти-то результаты нашей деятельности мы хотели бы изложить здесь полностью и подвергнуть их обсуждению. Без сомнения, они неявно содержатся уже и в недавно изданной нами книге «О разделении общественного труда». Но мы думаем, что было бы небезынтересно извлечь их оттуда и сформулировать отдельно, сопровождая доказательствами и иллюстрируя примерами, заимствованными частью из вышеупомянутой книги, частью из работ, еще не изданных. Таким образом можно будет лучше оценить направление, которое мы хотели бы придать социологическим исследованиям.

ГЛАВА I ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТ?

Прежде чем искать метод, пригодный для изучения социальных фактов, важно узнать, что представляют собой факты, носящие данное название.

Вопрос этот тем более важен, что данный термин обыкновенно применяют не совсем точно.

Им зачастую обозначают почти все происходящие в обществе явления, если только последние представляют какой-либо общий социальный интерес. Но при таком понимании не существует, так сказать, человеческих событий, которые не могли бы быть названы социальными. Каждый индивид пьет, спит, ест, рассуждает, и общество очень заинтересовано в том, чтобы все эти функции отправлялись регулярно.

Если бы все эти факты были социальными, то у социологии не было бы своего собственного предмета и ее область слилась бы с областью биологии и психологии.

Но в действительности во всяком обществе существует определенная группа явлений, отличающихся резко очерченными свойствами от явлений, изучаемых другими естественными науками.

Когда я действую как брат, супруг или гражданин, когда я выполняю заключенные мною обязательства, я исполняю обязанности, установленные вне меня и моих действий правом и обычаями. Даже когда они согласны с моими собственными чувствами и когда я признаю в душе их реальность, последняя остается все-таки объективной, так как я не сам создал их, а усвоил их благодаря воспитанию.

Как часто при этом случается, что нам неизвестны Детали налагаемых на нас обязанностей, и, для того чтобы узнать их, мы вынуждены справляться с кодексом и советоваться с его уполномоченными истолкователями! Точно так же верующий при рождении своем находит уже готовыми верования и обряды своей религии; если они существовали до него, то, значит, они существуют вне его. Система знаков, которыми я пользуюсь для выражения моих мыслей, денежная система, употребляемая мною для уплаты долгов, орудия кредита, служащие мне в моих коммерческих сношениях, обычаи, соблюдаемые в моей профессии, и т. д.— все это функционирует независимо от того употребления, которое я из них делаю. Пусть возьмут одного за другим всех членов, составляющих общество, и все сказанное может быть повторено по поводу каждого из них. Следовательно, эти способы мышления, деятельности и чувствования обладают тем примечательным свойством, что существуют вне индивидуальных сознаний.

Эти типы поведения или мышления не только находятся вне индивида, но и наделены принудительной силой, вследствие которой они навязываются ему независимо от его желания. Конечно, когда я добровольно сообразуюсь с ними, это принуждение, будучи бесполезным, мало или совсем не ощущается. Тем не менее оно является характерным свойством этих фактов, доказательством чего может служить то обстоятельство, что оно проявляется тотчас же, как только я пытаюсь сопротивляться. Если я пытаюсь нарушить нормы права, они реагируют против меня, препятствуя моему действию, если еще есть

время; или уничтожая и восстанавливая его в его нормальной форме, если оно совершено и может быть исправлено; или же, наконец, заставляя меня искупить его, если иначе его исправить нельзя. Относится ли сказанное к чисто нравственным правилам?

Общественная совесть удерживает от всякого действия, оскорбляющего их, посредством надзора за поведением граждан и особых наказаний, которыми она располагает. В других случаях принуждение менее сильно, но все-таки существует. Если я не подчиняюсь условиям света, если я, одеваясь, не принимаю в расчет обычаев моей страны и моего класса, то смех, мною вызываемый, и то отдаление, в котором меня держат, производят, хотя и в более слабой степени, то же действие, что и наказание в собственном смысле этого слова. В других случаях имеет место принуждение хотя и косвенное, но не менее действенное. Я не обязан говорить по-французски с моими соотечественниками или использовать установленную валюту, но я не могу поступить иначе. Если бы я попытался ускользнуть от этой необходимости, моя попытка оказалась бы неудачной.

Если я промышленник, то никто не запрещает мне работать, употребляя приемы и методы прошлого столетия, но если я сделаю это, я наверняка разорюсь. Даже если фактически я смогу освободиться от этих правил и успешно нарушить их, то я могу сделать это лишь после борьбы с ними. Если даже в конце концов они и будут побеждены, то все же они достаточно дают почувствовать свою принудительную силу оказываемым ими сопротивлением. Нет такого новатора, даже удачливого, предприятия которого не сталкивались бы с оппозицией этого рода.

Такова, стало быть, категория фактов, отличающихся весьма специфическими свойствами; ее составляют способы мышления, деятельности и чувствования, находящиеся вне индивида и наделенные принудительной силой, вследствие которой они ему навязываются. Поэтому их нельзя смешивать ни с органическими явлениями, так как они состоят из представлений и действий, ни с явлениями психическими, существующими лишь в индивидуальном сознании и через его посредство. Они составляют, следовательно, новый вид, и им-то и должно быть присвоено название *социальных*. Оно им вполне подходит, так как ясно, что, не имея своим субстратом индивида, они не могут иметь другого субстрата, кроме общества, будь то политическое общество в целом или какие-либо отдельные группы, в нем заключающиеся: религиозные группы, политические и литературные школы, профессиональные корпорации и т. д. С другой стороны, оно применимо только к ним, так как слово «социальный» имеет определенный смысл лишь тогда, когда обозначает исключительно явления, не входящие ни в одну из установленных и названных уже категорий фактов. Они составляют, следовательно, собственную область социологии. Правда, слово «принуждение», при помощи которого мы их определяем, рискует встревожить ревностных сторонников абсолютного индивидуализма. Поскольку они признают индивида вполне автономным, то им кажется, что его унижают всякий раз, как дают ему почувствовать, что он зависит не только от самого себя. Но так как теперь несомненно, что большинство наших идей и стремлений не выработаны нами, а приходят к нам извне, то они могут проникнуть в нас, лишь заставив признать себя; вот все, что выражает наше определение. Кроме того, известно, что социальное принуждение не исключает непременно индивидуальность¹.

¹ Это не значит, что всякое принуждение нормально. Мы к этому вернемся впоследствии.

Но так как приведенные нами примеры (юридические и нравственные правила, религиозные догматы, финансовые системы и т. п.) все состоят из уже установленных верований и обычаев, то на основании сказанного можно было бы подумать, что социальный факт может быть лишь там, где есть определенная организация. Однако существуют другие факты, которые, не представляя собой таких кристаллизованных форм, обладают той же объективностью и тем же влиянием на индивида. Это так называемые социальные течения.

Так, возникающие в многолюдных собраниях великие движения энтузиазма, негодования, сострадания не зарождаются ни в каком отдельном сознании. Они приходят к каждому из нас извне и способны увлечь нас, вопреки нам самим. Конечно, может случиться, что, отдаваясь им вполне, я не буду чувствовать того давления, которое они оказывают на меня. Но оно проявится тотчас, как только я попытаюсь бороться с ними. Пусть какой-нибудь индивид попробует противиться одной из этих коллективных манифестаций, и тогда отрицаемые им чувства обратятся против него. Если эта сила внешнего принуждения обнаруживается с такой ясностью в случаях сопротивления, то, значит, она существует, хотя не осознается, и в случаях противоположных. Таким образом, мы являемся жертвами иллюзии, заставляющей нас верить в то, что мы сами создали то, что навязано нам извне. Но если готовность, с какой мы впадаем в эту иллюзию, и маскирует испытанное давление, то она его не уничтожает. Так, воздух все-таки обладает весом, хотя мы и не чувствуем его. Даже если мы со своей стороны содействовали возникновению общего чувства, то впечатление, полученное нами, будет совсем другим, чем то, которое мы испытали бы, если бы были одни. Поэтому, когда собрание разойдется, когда эти социальные влияния перестанут действовать на нас и мы останемся наедине с собой, то чувства, пережитые нами, покажутся нам чем-то чуждым, в чем мы сами себя не узнаем. Мы замечаем тогда, что мы их гораздо более испытали, чем создали. Случается даже, что они вызывают в нас ужас, настолько они были противны нашей природе. Так, индивиды, в обыкновенных условиях совершенно безобидные, соединяясь в толпу, могут вовлекаться в акты жестокости. То, что мы говорим об этих мимолетных вспышках, применимо также и к тем более длительным движениям общественного мнения, которые постоянно возникают вокруг нас или во всем обществе или в более ограниченных кругах по поводу религиозных, политических, литературных, художественных и других вопросов.

Данное определение социального факта можно подтвердить еще одним характерным наблюдением, стоит только обратить внимание на то, как воспитывается ребенок. Если рассматривать факты такими, каковы они есть и всегда были, то нам бросится в глаза, что все воспитание заключается в постоянном усилии приучить ребенка видеть, чувствовать и действовать так, как он не привык бы самостоятельно. С самых первых дней его жизни мы принуждаем его есть, пить и спать в определенные часы, мы принуждаем его к чистоте, к спокойствию и к послушанию; позднее мы принуждаем его считаться с другими, уважать обычаи, приличия, мы принуждаем его к работе и т. д. Если с течением времени это принуждение и перестает ощущаться, то только потому, что оно постепенно рождает привычки, внутренние склонности, которые делают его бесполезным, но заменяют его лишь вследствие того, что сами из него вытекают. Правда, согласно Спенсеру, рациональное воспитание должно было бы отвергать такие приемы и предоставлять ребенку полную свободу; но так как эта педагогическая теория никогда не практиковалась ни одним из известных народов, то она составляет лишь *desideratum* автора, а не факт, который можно было бы противопоставить изложенным фактам. Последние же особенно поучительны потому, что воспитание имеет целью создать социальное существо; на нем, следовательно, можно увидеть в общих чертах, как образовалось это существо в истории. Это давление, ежеминутно испытываемое ребенком, есть не что иное, как давление социальной среды, стремящейся сформировать его по своему образу и имеющей своими представителями и посредниками родителей и учителей.

Таким образом, характерным признаком социальных явлений служит не их распространенность. Какая-нибудь мысль, присущая сознанию каждого индивида, какое-нибудь движение, повторяемое всеми, не становятся от этого социальными фактами. Если этим признаком и довольствовались для их определения, то это потому, что их ошибочно смешивали с тем, что может быть названо их индивидуальными воплощениями. К социальным фактам принадлежат верования, стремления, обычаи группы, взятой коллективно; что же касается тех форм, в которые облекаются коллективные состояния, передаваясь индивидам, то это явления иного порядка. Двойственность их природы

наглядно доказывается тем, что обе эти категории фактов часто встречаются в разъединенном состоянии. Действительно, некоторые из этих образов мыслей или действий приобретают вследствие повторения известную устойчивость, которая, так сказать, создает из них осадок и изолирует от отдельных событий, их отражающих. Они как бы приобретают, таким образом, особое тело, особые свойственные им осязательные формы и составляют реальность *sui generis*, очень отличную от воплощающих ее индивидуальных фактов. Коллективная привычка существует не только как нечто имманентное ряду определяемых ею действий, но по привилегии, не встречаемой нами в области биологической, она выражается раз и навсегда в какой-нибудь формуле, повторяющейся из уст в уста, передающейся воспитанием, закрепляющейся даже письменно. Таковы происхождение и природа юридических и нравственных правил, народных афоризмов и преданий, догматов веры, в которых религиозные или политические секты кратко выражают свои убеждения, кодексов вкуса, устанавливаемых литературными школами, и пр. Существование всех их не исчерпывается целиком применениями их в жизни отдельных лиц, так как они могут существовать и не будучи применяемы в настоящее время.

Конечно, эта диссоциация не всегда одинаково четко проявляется. Но достаточно ее неоспоримого существования в поименованных нами важных и многочисленных случаях, для того чтобы доказать, что социальный факт отличен от своих индивидуальных воплощений. Кроме того, даже тогда, когда она не дана непосредственно наблюдению, ее можно часто обнаружить с помощью некоторых искусственных приемов; эту операцию даже необходимо произвести, если желают освободить социальный факт от всякой примеси и наблюдать его в чистом виде. Так, существуют известные течения общественного мнения, вынуждающие нас с различной степенью интенсивности, в зависимости от времени и страны, одного, например, к браку, другого к самоубийству или к более или менее высокой детности и т. п. Это, очевидно, социальные факты. С первого взгляда они кажутся неотделимыми от форм, принимаемых ими в отдельных случаях. Но статистика дает нам средство изолировать их. Они в действительности изображаются довольно точно цифрой рождаемости, браков и самоубийств, т. е. числом, получающимся от деления среднего годового итога браков, рождений, добровольных смертей на число лиц, по возрасту способных жениться, производить, убивать себя².

Не во всяком возрасте и не во всех возрастах одинаково часто прибегают к самоубийству.

Так как каждая из этих цифр охватывает без различия все отдельные случаи, то индивидуальные условия, способные сказываться на возникновении явления, взаимно нейтрализуются и вследствие этого не определяют этой цифры. Она выражает лишь известное состояние коллективной души. Вот что такое социальные явления, освобожденные от всякого постороннего элемента. Что же касается их частных проявлений, то и в них есть нечто социальное, так как они частично воспроизводят коллективный образец. Но каждое из них в большой мере зависит также и от психоорганической конституции индивида, и от особых условий, в которых он находится. Они, следовательно, не относятся к собственно социологическим явлениям. Они принадлежат одновременно двум областям, и их можно было бы назвать социопсихическими. Они интересуют социолога, не составляя непосредственного предмета социологии. Точно так же и в организме встречаются явления смешанного характера, которые изучаются смешанными науками, как, например, биологической химией.

Но, скажут нам, явление может быть общественным лишь тогда, когда оно свойственно всем членам общества или, по крайней мере, большинству из них, следовательно, при условии всеобщности. Без сомнения, однако, оно всеобще лишь потому, что социально (т. е. более или менее обязательно), а отнюдь не социально потому, что всеобще. Это такое состояние группы, которое повторяется у индивидов, потому что оно навязывается им.

Оно находится в каждой части, потому что находится в целом, а вовсе не потому оно находится в целом, что находится в частях. Это особенно очевидно относительно верований и обычаев, передающихся нам уже вполне сложившимися от предшествующих поколений. Мы принимаем и усваиваем их, потому что они, как творение коллективное и вековое, облечены особым авторитетом, который мы вследствие воспитания привыкли уважать и признавать. А надо заметить, что огромное большинство социальных явлений приходит к нам этим путем. Но даже тогда, когда социальный факт возникает отчасти при нашем прямом содействии, природа его все та же. Коллективное чувство, вспыхивающее в собрании, выражает не только то, что было общего между всеми индивидуальными чувствами. Как мы показали, оно есть нечто совсем другое. Оно есть результирующая совместной жизни, продукт действий и противодействий, возникающих между индивидуальными сознаниями. И если оно отражается в каждом из них, то это в силу той особой энергии, которой оно обязано своему коллективному происхождению. Если все сердца бьются в унисон, то это не вследствие самопроизвольного и предустановленного согласия, а потому, что их движет одна и та же сила и в одном и том же направлении. Каждого увлекают все.

Итак, мы можем точно представить себе область социологии. Она охватывает лишь определенную группу явлений. Социальный факт узнается лишь по той внешней принудительной власти, которую он имеет или способен иметь над индивидами. А присутствие этой власти узнается, в свою очередь, или по существованию какой-нибудь определенной санкции, или по сопротивлению, оказываемому этим фактом каждой попытке индивида выступить против него. Его можно определить также и по распространению его внутри группы, если только, в соответствии с предыдущими замечаниями, будет прибавлено в качестве второго основного признака, что он существует независимо от индивидуальных форм, принимаемых им при распространении. В иных случаях последний критерий даже легче применять, чем первый. Действительно, принуждение легко констатировать, когда оно выражается вовне какой-нибудь прямой реакцией общества, как это бывает в праве, в морали, в верованиях, в обычаях, даже в модах. Но, когда оно лишь косвенное, что имеет место, например, в экономической организации, оно не так легко заметно. Тогда бывает легче установить всеобщность вместе с объективностью. К тому же это второе определение есть лишь другая форма первого, так как если способ поведения, существующий вне индивидуальных сознаний, становится общим, то он может стать таким лишь с помощью принуждения³.

Это определение социального факта, как видно, весьма далеко от определения, служившего основанием остроумной системы Тарда. Мы должны заявить прежде всего, что наши исследования не дали нам возможности констатировать то преобладающее влияние, которое Тард приписывает подражанию в генезисе социальных фактов. Кроме того, из предшествующего определения, являющегося не теорией, а простым итогом данных непосредственных наблюдений, кажется, ясно вытекает, что подражание не только не всегда выражает, но даже никогда не выражает того, что составляет сущность и характерную особенность социальных фактов. Конечно, каждый социальный факт распространяется подражанием; как мы указали, он имеет тенденцию к распространению; но это потому, что он социален, т. е. обязателен. Его способность распространяться — не причина, а следствие его социального характера. Если бы социальные факты одни вызывали это следствие, то подражание могло бы если не объяснять, то, по крайней мере, определять их. Передающееся подражанием индивидуальное состояние не перестает все-таки быть индивидуальным состоянием. Кроме того, можно было бы спросить, подходит ли слово «подражание» для обозначения распространения, вызванного силою принуждения. Этим выражением одинаково обозначают сьма несходные явления, которые следовало бы различать.

Однако можно было бы спросить, полно ли это определение. Действительно, все факты, послужившие нам основанием для него, являются различными способами *действия*; они относятся к физиологической категории. Однако существуют еще формы коллективного *бытия*, т. е. социальные факты анатомического или морфологического порядка. Социология не может интересоваться тем, что образует субстрат коллективной жизни. Однако число и характер основных элементов, из которых слагается общество, способы их сочетания, степень достигнутой ими сплоченности, распределение населения по территории, число и характер путей сообщения, форма жилищ и т. д. на первый взгляд не могут быть сведены к способам действия, чувствования и мышления.

Но прежде всего эти разнообразные явления содержат те же характерные признаки, которые послужили нам для определения других явлений. Эти формы бытия навязываются индивиду так же, как и те способы действия, о которых мы говорили выше. Действительно, если хотят узнать политическое деление общества, состав его отдельных частей, более или менее тесную связь между ними, то этого можно достигнуть не при помощи материального осмотра или географического обзора, так как деления идеальны даже тогда, когда некоторые их основания заложены в физической природе. Лишь посредством изучения публичного права можно узнать эту организацию, так как именно это право определяет наши семейные и гражданские отношения. Она, следовательно, не менее обязательна. Если наше население теснится в городах, вместо того чтобы рассеяться по деревням, то это потому, что существует коллективное мнение, принуждающее индивидов к этой концентрации. Мы так же не можем выбирать форму наших жилищ, как и фасоны нашей одежды: первая обязательна в такой же мере, как и последние. Пути сообщения настоятельным образом определяют направление, в котором совершаются внутренние миграции и обмен, и даже интенсивность этих миграций и обмена и т. д. Следовательно, к перечисленному нами ряду явлений, имеющих отличительный признак социальных фактов, можно было бы прибавить еще одну категорию; но так как это перечисление не было исчерпывающим, то такое прибавление необязательно.

Оно даже бесполезно, так как эти формы бытия суть лишь устоявшиеся способы действий. Политическая структура общества есть лишь тот способ, которым привыкли жить друг с другом различные сегменты, составляющие это общество. Если их отношения традиционно тесны, то сегменты стремятся слиться, в противоположном случае они стремятся к разъединению. Тип нашего жилища представляет собой лишь тот способ, которым привыкли строить дома все вокруг нас и отчасти предшествующие поколения. Пути сообщения являются лишь тем руслом, которое прорыло себе регулярно совершающееся в одном и том же направлении течение обмена и миграций и т. д.

Конечно, если бы только явления морфологического порядка представляли такую устойчивость, то можно бы подумать, что они представляют собой особый вид. Но юридическое правило — устройство не менее устойчивое и постоянное, чем архитектурный тип, а между тем это факт физиологический.

Простая нравственная максима, конечно, более изменчива, но ее формы бывают более устойчивыми, нежели профессиональный обычай или мода. Притом существует целый ряд переходных ступеней, которыми наиболее характерные по своей структуре социальные факты соединяются с теми свободными течениями социальной жизни, которые еще не вылились в определенную форму. Следовательно, между ними есть различия лишь в степени их прочности. И те и другие представляют лишь более или менее кристаллизованную форму. Конечно, может быть, полезно сохранить для социальных фактов, составляющих социальный субстрат, название морфологических, но при этом не надо терять из виду, что по природе своей они одинаковы с другими фактами.

Наше определение будет, следовательно, полно, если мы скажем: *социальным фактом является всякий способ действий, устоявшийся или нет, способный оказывать на индивида внешнее принуждение*; или иначе: *Распространенный на всем протяжении*

данного общества, имеющий в то же время свое собственное существование, независимое от его индивидуальных проявлений⁴.

⁴ Это тесное родство жизни и структуры, органа и функции может быть легко установлено в социологии, потому что между этими двумя крайними пределами существует целый ряд промежуточных степеней, непосредственно наблюдаемых и обнаруживающих связь между ними. У биологии нет такого средства. Но можно думать, что индукции первой из этих наук по этому поводу применимы и к другой и что в организмах, как и в обществах, между этими двумя категориями фактов существуют различия лишь в степени.

ГЛАВА II

ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НАБЛЮДЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОВ

Первое и основное правило состоит в том, что *социальные факты нужно рассматривать как вещи*.

I

В тот момент, когда определенный класс явлений становится объектом науки, в уме человеческого существуют уже не только чувственные образы этих явлений, но и разного рода понятия о них, сформировавшиеся из самых различных источников. Так, еще до первых зачатков физики и химии у людей были уже известные понятия о физико-химических явлениях, выходявшие за пределы чистых восприятий: таковы, например, те понятия, которые примешаны ко всем религиям. Это значит, что на самом деле рефлексия предшествует науке, которая лишь пользуется ею при помощи более строгого метода. Человек не может жить среди явлений, не составляя себе о них идей, которыми он руководствуется в своем поведении. Но так как эти понятия ближе и понятнее нам, чем реальности, которым они соответствуют, то мы, естественно, склонны заменять ими последние и делать их предметом наших размышлений. Вместо того чтобы наблюдать вещи, описывать и сравнивать их, мы довольствуемся тогда тем, что проясняем наши идеи, анализируем и комбинируем их. Науку о реальности мы подменяем анализом понятий. Конечно, этот анализ не исключает непременно всякое наблюдение. К фактам можно обращаться для того, чтобы подтвердить эти понятия или сделанные из них выводы. Но факты в этом случае являются чем-то второстепенным; они служат примерами или подтверждающими доказательствами, а не предметом науки. Последняя движется от идей к вещам, а не от вещей к идеям.

Ясно, что такой метод не может дать объективных результатов. Действительно, эти понятия или концепции, как бы их ни называли, не являются законными заместителями вещей. Эти продукты обыденного опыта призваны прежде всего приводить в гармонию наши действия с окружающим нас миром; они выработаны практикой и для нее. Но эту роль с успехом может выполнить и представление теоретически ложное. Коперник несколько столетий тому назад рассеял иллюзии наших чувств относительно движения светил, а между тем обычно мы распределяем наше время, руководствуясь этими иллюзиями. Для того чтобы какая-нибудь идея вызывала действие, согласное с природой данной вещи, не нужно непременно, чтобы она верно воспроизводила эту природу; достаточно, если она даст нам почувствовать, что в этой вещи полезного или невыгодного, чем она может служить нам и чем повредить. Понятия, сформированные таким образом, представляют эту практическую правильность лишь приблизительно, и то лишь в большинстве случаев. Как часто они столь же опасны, сколь несовершенны! Следовательно, нельзя открыть законы реальности, разрабатывая эти понятия, как бы мы ни брались за это. Эти понятия, наоборот, походят на покрывало, находящееся между нами и вещами и скрывающее их от нас тем лучше, чем прозрачнее оно нам кажется.

Такая наука не только урезана, но и лишена необходимой ей пищи. Едва она возникает, как уже исчезает, так сказать превращаясь в искусство. Действительно, считается, что

означенные понятия содержат в себе все существенное в реальности, так как их смешивают с самой реальностью. Поэтому кажется, что в них есть все, что надо для того, чтобы не только привести нас к пониманию существующего, но и предписывать нам то, что должно быть, и указывать нам средство осуществления должного. Ибо хорошо то, что сообразно с природой вещей; то же, что ей противоречит, плохо, и средства достигнуть одного и избежать другого вытекают из самой этой природы. Если, стало быть, мы постигаем ее сразу, то изучение существующей реальности не имеет более практического интереса, а поскольку именно он служит основанием этого изучения, то последнее отныне становится бессмысленным. Таким образом, размышление отворачивается от того, что составляет собственно объект науки, а именно от настоящего и прошлого, с тем чтобы одним прыжком устремиться в будущее. Вместо того чтобы стараться понять факты, уже сложившиеся и реализованные, оно принимается непосредственно за осуществление новых фактов, более отвечающих человеческим целям. Когда люди верят, что познали сущность материи, они сейчас же принимаются за поиски философского камня. Этот захват науки искусством, мешающий первой развиваться, облегчается еще самими обстоятельствами, вызывающими пробуждение научной рефлексии. Так как последняя появляется для удовлетворения жизненных потребностей, то она совершенно естественно оказывается обращенной к практике. Потребности, которые она призвана удовлетворить, всегда настоятельны и потому торопят ее с окончательными выводами: они требуют не объяснений, а лекарств.

Такой подход настолько соответствует естественной склонности нашего ума, что он встречается даже при возникновении физических наук. Именно он отличает алхимию от химии и астрологию от астрономии. Таков, по словам Бэкона, оспариваемый им метод ученых его времени. Понятия, о которых мы только что говорили, и суть те *notiones vulgares* или *praenotiones*¹, которые он находил в основе всех наук², где они замещают факты³.

¹ Novum Organum, I, p. 26.

² Ibid., p. 17.

³ Ibid., p. 36.

Это *idola*, род призраков, искажающих истинный вид вещей и принимаемых нами за сами вещи. А так как эта воображаемая среда не оказывает нашему уму никакого сопротивления, то он, не чувствуя никаких стеснений, предается безграничному честолюбию и считает возможным построить или, скорее, перестроить мир одними своими силами и согласно своим желаниям.

Если таково было положение естественных наук, то тем более так должно было произойти с социологией. Люди не дожидались утверждения социальной науки, для того чтобы создать себе понятия о праве, нравственности, семье, государстве, обществе, потому что они не могли жить без них. И в социологии более чем где-либо эти «предпонятия», используя выражение Бэкона, могут господствовать над умами и заменять собой вещи. Действительно, социальные явления осуществляются только людьми, они являются продуктами человеческой деятельности. Они, стало быть, не что иное, как осуществление присущих нам идей, врожденных или нет, не что иное, как применение их к различным обстоятельствам, сопровождающим отношения людей между собой. Организация семьи, договорных отношений, репрессивных мер, государства, общества выступает, таким образом, как простое развитие идей, имеющихся у нас относительно общества, государства, справедливости и т. д. Следовательно, эти и аналогичные им факты, по видимому, обладают реальностью лишь в идеях и через посредство идей, которые являются их источником, а потому и истинным предметом социологии.

Этот взгляд окончательно подтверждается тем, что, поскольку социальная жизнь во всей полноте своей выходит за пределы сознания, последнее не обладает достаточной силой восприятия для того, чтобы чувствовать ее реальность. Так как для такого восприятия у

нас нет достаточно тесной и прочной связи с ней, то она легко производит на нас впечатление чего-то ни к чему не прикрепленного, плывущего в пустоте, чего-то полуреального и крайне податливого. Вот почему столько мыслителей видели в социальных устройствах лишь искусственные и более или менее произвольные комбинации. Но-если детали или конкретные и частные формы ускользают от нас, то мы, по крайней мере, составляем себе самые общие и приблизительные представления о коллективном бытии в целом, и эти-то схематичные и общие представления и являются теми «предпонятиями», которыми мы пользуемся в обыденной жизни. Мы не можем, стало быть, и помыслить о том, чтобы усомниться в их существовании, так как замечаем последнее одновременно с нашим. Они существуют не только в нас, но, будучи продуктом повторных опытов, они от повторения и происходящей отсюда привычки получают известного рода влияние и авторитет. Мы чувствуем их сопротивление, когда стараемся свободиться от них. А мы не можем не считать реальным того, что нам сопротивляется. Все, следовательно, способствует тому, чтобы заставить нас видеть в них истинную социальную реальность.

И действительно, до сих пор социология почти исключительно рассуждала не о вещах, но о понятиях. Конт, правда, провозгласил, что социальные явления суть естественные факты, подчиненные естественным законам. Этим он неявно признал их вещами, так как в природе существуют лишь вещи. Но, выйдя за пределы этих философских обобщений, он пытается применить свой принцип и построить соответствующую ему науку, делая объектом изучения именно идеи. Действительно, главным содержанием его социологии является прогресс человечества во времени. Он отправляется от той идеи, что существует непрерывная эволюция человеческого рода, заключающаяся во все более полной реализации человеческой природы, и ставит своей задачей обнаружение порядка этой эволюции. Однако если и предположить, что эта эволюция существует, то реальность ее существования может быть установлена лишь тогда, когда наука уже возникла; следовательно, ее можно было сделать объектом исследования, лишь выдвигая ее как концепцию разума, а не как вещь. И действительно, это представление совершенно субъективно, фактически этого прогресса человечества не существует. Существуют же и даны наблюдению лишь отдельные общества, которые рождаются, развиваются и умирают независимо одно от другого. Если бы еще позднейшие служили продолжением предшествующих, то каждый высший тип можно было бы рассматривать как простое повторение ближайшего низшего типа с небольшим прибавлением. Можно было бы поставить их тогда одно за другим, соединяя в одну группу те, которые находятся на одинаковой ступени развития; и ряд, образованный таким образом, мог бы считаться представляющим человечество. Но факты не так просты. Народ, заступающий место другого народа, не является простым продолжением последнего с некоторыми новыми свойствами; он — иной, у него некоторых свойств больше, других меньше. Он составляет новую индивидуальность, и все эти отдельные индивидуальности, будучи разнородными, не могут слиться ни в один и тот же непрерывный ряд, ни особенно в единственный ряд. Последовательный ряд обществ не может быть изображен геометрической линией, он скорее похож на дерево, ветви которого расходятся в разные стороны. В общем, Конт принял за историческое развитие то понятие, которое он составил о нем и которое немногим отличается от обыденного понятия. Действительно, история, рассматриваемая издали, легко принимает такой простой и последовательный вид. Видны лишь индивиды, последовательно сменяющие друг друга и идущие в одном и том же направлении, так как природа у них одна и та же. Поскольку к тому же считается, что социальная эволюция не может быть ничем иным, как только развитием какой-нибудь человеческой идеи, вполне естественно определить ее тем понятием, которое люди о ней составляют. Однако, действуя таким образом, не только остаются в области идей, но и делают объектом социологии понятие, не имеющее в себе ничего собственно социологического.

Спенсер устраняет это понятие, но лишь для того, чтобы заменить его другим, сформированным по тому же образцу. Объектом науки он считает не человечество, а

общества. Но он тут же дает такое определение последних, которое устраняет вещь для того, чтобы поставить на ее место предпонятие, существующее у него об этих обществах. Действительно, он признает очевидным то положение, что «общество существует лишь тогда, когда к совместному пребыванию индивидов добавляется кооперация», что лишь благодаря этому союз индивидов становится обществом в собственном смысле этого слова⁴. Затем, исходя из того принципа, что кооперация есть сущность социальной жизни, он разделяет общества на два класса в зависимости от характера господствующей кооперации. «Существует,— говорит он,— самопроизвольная кооперация, которая происходит непреднамеренно во время преследования целей частного характера; существует также сознательно установленная кооперация, предполагающая ясно признанные цели общественного интереса»⁵.

⁴ Sociologie, III, p. 331, 332.

⁵ Ibid., p. 332.

Первые он называет промышленными, вторые — военными, и об этом различии можно сказать, что оно является исходной идеей социологии.

Но эти предварительное определение объявляет реальной вещью то, что есть лишь умозрение. Действительно, оно выдается за выражение непосредственно воспринимаемого и констатируемого наблюдением факта, так как оно сформулировано в самом начале науки как аксиома. А между тем невозможно узнать простым наблюдением, действительно ли кооперация есть суть социальной жизни. Такое утверждение было бы научно правомерно лишь в том случае, если бы начали с обзора всех проявлений коллективного бытия и доказали, что все они являются различными формами кооперации. Следовательно, здесь также определенный способ видения социальной реальности заменяет собой эту реальность⁶. Означенной формулой определяется не общество, а та идея, которую составил себе о нем Спенсер. И если он не испытывает никакого сомнения, действуя таким образом, то это потому, что и для него общество есть и может быть лишь реализацией идеи, а именно той самой идеи кооперации, посредством которой он его определяет⁷.

⁶ К тому же способ этот можно оспаривать. См.: Division du travail social, II, 2, § 4.

⁷ «Кооперация не может существовать без общества, и это цель, для которой общество существует» (Principes de sociologie, III, p. 332).

Легко показать, что в каждом отдельном вопросе, которого он касается, его метод остается одинаковым. Поэтому хотя он и делает вид, что действует эмпирически, но так как факты, собранные в его социологии, скорее используются для иллюстрации анализа понятий, чем для описания и объяснения вещей, то они лишь кажутся аргументами. В действительности все существенное в его учении может быть непосредственно выведено из его определения общества и различных форм кооперации. В самом деле, если у нас есть выбор лишь между тиранически навязываемой кооперацией и кооперацией самопроизвольной и свободной, то, очевидно, именно последняя и будет тем идеалом, к которому стремится и должно стремиться человечество.

Эти обыденные понятия встречаются не только в основе науки; на них наталкиваешься ежеминутно во всех ее построениях. При нынешнем состоянии наших знаний мы не знаем достоверно, что такое государство, суверенитет, политическая свобода, демократия, социализм, коммунизм и т. д. Следовательно, с точки зрения правильного метода нужно было бы запретить себе употребление этих понятий, пока они научно не установлены. А между тем слова, их выражающие, встречаются постоянно в рассуждениях социологов. Их употребляют без запинки и с уверенностью, как будто они соответствуют вещам, хорошо известным и определенным, тогда как они порождают в нас лишь расплывчатые понятия, неясную смесь смутных впечатлений, предрассудков и страстей. Мы смеемся теперь над странными рассуждениями средневековых медиков с их понятиями теплого,

холодного, сухого, сырого и т. д. и не замечаем, что продолжаем применять тот же метод к разряду явлений, для которых он менее всего пригоден вследствие их чрезвычайной сложности.

В специальных отраслях социологии этот метод присутствует еще более явно. Особенно часто он используется в изучении нравственности. Действительно, можно сказать, что нет ни одной системы, в которой она не представлялась бы простым развитием исходной идеи, заключающей в себе ее всю. Одни думают, что эту идею человек находит вполне готовой в себе при своем рождении; другие, наоборот, полагают, что она слагается более или менее медленно в ходе истории. Но как для тех, так и для других, как для эмпиристов, так и для рационалистов она обставляет все действительно реальное в нравственности. Что же касается деталей юридических и нравственных правил, то они не имеют, так сказать, собственного существования, а являются лишь различными, смотря по обстоятельствам, применениями этой основной идеи к отдельным случаям жизни. Объектом этики оказывается не система предписаний, лишенных реального существования, а идея, из кото-Рой они вытекают и разнообразными применениями которой они являются. Поэтому все вопросы, которые задает себе обыкновенно этика, относятся не к вещам, а к идеям. Речь идет о том, чтобы узнать, в чем состоит Дея права, идея нравственности, а не какова природа Равственности и права самих по себе. Моралисты не дошли еще до той очень простой идеи, что, подобно тому как наше представление о чувственно воспринимаемых вещах проистекает от самих этих предметов и выражает их более или менее точно, так и наше представление о нравственности вытекает из наблюдения правил, функционирующих у нас перед глазами, и изображает их схематически; что, следовательно, сами эти правила, а не общий взгляд на них составляют содержание науки, точно так же как предметом физики служат тела в том виде, в каком они существуют, а не идеи, создаваемые о них толпой. Отсюда следует, что за основание нравственности принимают то, что является лишь ее вершиной, а именно ту форму, в которой она отражается и продолжает свое бытие в индивидуальных сознаниях. И этому методу следуют не только в самых общих, но и в специальных вопросах науки. От основных идей, исследуемых вначале, моралист переходит к идеям второстепенным, к идеям семьи, родины, ответственности, милосердия, справедливости; но его рассуждения по-прежнему относятся только к идеям.

Так же обстоит дело и в политической экономии. Предметом ее, говорит Стюарт Милль, служат социальные факты, возникающие главным образом или исключительно с целью накопления богатств⁸.

⁸ Systdme de Logique, III, p. 496.

Но, чтобы подходящие под это определение факты могли наблюдаться ученым как вещи, нужно было бы, по крайней мере, указать, по какому признаку можно узнать подобные факты. Вначале же науки не имеют права даже утверждать, что они существуют, и тем более нельзя знать, каковы они. Действительно, во всяком виде исследований установить, что факты имеют цель и какова она, возможно лишь тогда, когда объяснение этих фактов достаточно продвинулось вперед. Нет проблемы более сложной и менее пригодной для быстрого решения. Ничего ведь не убеждает нас заранее в том, что существует сфера социальной деятельности, в которой желание богатства играет действительно указанную преобладающую роль.

Вследствие этого предмет политической экономии, понятой таким образом, состоит не из реальностей, которые могли бы быть указаны пальцем, а из простых возможностей, из чистых понятий разума, т. е. из фактов, которые экономист понимает как относящиеся к означенной цели и в том виде, как он их понимает. Изучает ли он, например, то, что называет производством? Нет, он думает, что сразу может перечислить главнейшие факторы его и обозреть их. Это значит, что он узнал об их существовании не посредством наблюдения условий, от которых зависит изучаемое явление, так как иначе он начал бы с

изложения опытов, из которых он вывел это заключение. Если же в самом начале исследования и в нескольких словах он приступает к этой классификации, то это значит, что он получил ее простым логическим анализом. Он отправляется от идеи производства; разлагая ее, он находит, что она логически предполагает понятия естественных сил, труда, орудий или капитала, и затем таким же образом трактует производные идеи⁹.

⁹ Этот характер проглядывает и в самих выражениях, употребляемых экономистами. Постоянно говорится об идеях: идее пользы, сбережения, помещения капитала, затрат. См.: *Gide. Principes d'economie politique*, liv. III, Ch I, § 1; ch. II, § 1; ch. III, § 1.

Самая основная экономическая теория, теория стоимости, явно построена по тому же самому методу. Если бы стоимость изучалась в ней так, как должна изучаться реальность, то экономист указал бы сначала, по какому признаку можно узнать предмет, носящий данное название, он классифицировал бы затем его виды, постарался бы индуктивным путем определить, под влиянием каких причин они изменяются, сравнил бы, наконец, добытые им различные результаты и вывел бы из них общую формулу. Теория могла бы, следовательно, явиться лишь тогда, когда наука продвинулась бы достаточно далеко. Вместо этого мы находим ее в самом начале. Дело в том, что для создания ее экономист ограничивается тем, что углубляется в себя, вдумывается в сконструированную им идею стоимости как объекта, способного обмениваться. Он находит, что она включает в себя идеи пользы, редкости и т. д., и на основании этих продуктов своего анализа строит свое определение. Конечно, он подтверждает его некоторыми примерами. Но если подумать о бесчисленных фактах, которые должна объяснить подобная теория, то можно ли признать хоть какую-нибудь доказательную ценность за теми неизбежно редкими фактами, которые по случайному впадению приводятся в ее подтверждение?

Итак, в политической экономии, как и в этике, доля научного исследования очень ограничена, доля же искусства преобладает. В этике теоретическая часть сводится к нескольким рассуждениям об идее долга, добра и права. Эти отвлеченные рассуждения также не составляют, строго говоря, науки, потому что цель их — определить не то, каково существующее фактически высшее правило нравственности, а то, каким оно должно быть. Точно так же в экономических исследованиях наибольшее место занимает, например, вопрос: должно ли общество быть организовано согласно воззрениям индивидуалистов или социалистов; должно ли государство вмешиваться в промышленные и торговые отношения или предоставить их всецело частной инициативе; должен ли быть в денежной системе монометаллизм или биметаллизм? И т. д. Законы в собственном смысле этого слова там немногочисленны. Даже те, которые привыкли считать таковыми, не заслуживают обыкновенно этого наименования, но являются лишь максимами поведения, замаскированными практическими предписаниями. Возьмем, например, знаменитый закон спроса и предложения. Он никогда не был установлен индуктивно, как выражение экономической реальности. Ни разу не было произведено никакого опыта, никакого методического сравнения для того, чтобы установить, что *фактически* экономические отношения управляются этим законом. Все, что могло быть сделано и что было сделано, состояло в диалектическом доказательстве того, что индивиды должны действовать таким образом, если они хорошо понимают свои интересы, что всякий другой способ действия был бы им вреден и заключал бы в себе настоящее логическое заблуждение со стороны тех, кто его использовал.

Логически необходимо, чтобы самые производительные отрасли промышленности были охотнее всего заняты, чтобы владельцы наиболее редких и пользующихся наибольшим спросом продуктов продавали их по самой высокой цене. Но эта вполне логичная необходимость вовсе не походит на необходимость, присущую истинным законам природы. Последние выражают действительные, а не только желаемые отношения фактов. Сказанное об этом законе может быть повторено относительно всех положений, которые ортодоксальная экономическая школа называет естественными и которые являются лишь

частными случаями предшествующего. Они естественны, если угодно, в том лишь смысле, что указывают средства, которые кажется или может показаться естественным употреблять для достижения намеченной цели. Но их не следует называть так, если под естественным законом разуметь всякий способ природного бытия, устанавливаемый индуктивно. Они являются, в общем, лишь советами практической мудрости, и если их могли с кажущимся правдоподобием выдавать за выражение самой действительности, то это потому, что — правильно или неправильно — нашли возможным предположить, что этим советам действительно следовало большинство людей и в большинстве случаев.

А между тем социальные явления суть вещи, и о них нужно рассуждать как о вещах. Для того чтобы доказать это положение, не обязательно философствовать об их природе, разбирать их аналогии с явлениями низших миров. Достаточно указать, что для социолога они составляют единственное datum*1*. Вещью же является все то, что дано, представлено или, точнее, навязано наблюдению. Рассуждать о явлениях как о вещах — значит рассуждать о них как о данных, составляющих отправной пункт науки. Социальные явления бесспорно обладают этим признаком. Нам дана не идея, создаваемая людьми о стоимости, — она недоступна наблюдению, — а стоимости, реально обмениваемые в сфере экономических отношений. Нам дано не то или иное представление о нравственном идеале, а совокупность правил, действительно определяющих поведение. Нам дано не понятие о пользе или о богатстве, а экономическая организация во всей ее полноте. Возможно, что социальная жизнь есть лишь развитие известных понятий, но если предположить, что это так, то все-таки эти Понятия не даны непосредственно. Дойти до них можно, следовательно, не прямо, а лишь посредством феноменологической реальности, выражающей их. Мы не знаем *a priori*, от каких идей происходят различные течения, на которые распределяется социальная жизнь, и существуют ли они; лишь дойдя по ним до их источников, мы узнаем, откуда они происходят.

Нам нужно, следовательно, рассматривать социальные явления сами по себе, отделяя их от сознающих и представляющих их себе субъектов. Их нужно изучать извне, как внешние вещи, ибо именно в таком качестве они предстают перед нами. Если этот внешний характер лишь кажущийся, то иллюзия рассеется по мере того, как наука будет продвигаться вперед, и мы увидим, как внешнее, так сказать, войдет внутрь. Но решения нельзя предвидеть заранее, и даже если бы в конце концов у них и не оказалось всех существенных свойств вещей, вначале их все-таки надо трактовать так, как будто бы эти свойства у них были. Это правило, стало быть, прилагается ко всей социальной реальности в целом, без всякого исключения. Даже те явления, которые, по-видимому, представляют собою наиболее искусственные устройства, должны рассматриваться с этой точки зрения. *Условный характер обычая или института никогда не должен предполагаться заранее.* Если, кроме того, нам будет позволено сослаться на наш личный опыт, то мы можем верить, что, действуя таким образом, часто с удовольствием видишь, что факты, вначале кажущиеся самыми произвольными, оказываются при более внимательном наблюдении обладающими постоянством и регулярностью, симптомами их объективности.

Впрочем, сказанного об отличительных признаках социального факта достаточно, чтобы убедить нас в этой объективности и доказать нам, что она непризрачна. Действительно, вещь узнается главным образом по тому признаку, что она не может быть изменена простым актом воли. Это не значит, что она не подвержена никакому изменению. Но, чтобы произвести это изменение, недостаточно пожелать этого, надо приложить еще более или менее напряженное усилие из-за сопротивления, которое она оказывает и которое, к тому же, не всегда может быть побеждено. А мы видели, что социальные факты обладают этим свойством. Они не только не являются продуктами нашей воли, но сами определяют ее извне. Они представляют собой как бы формы, в которые мы вынуждены отливать наши действия. Часто даже эта необходимость такова, что мы не можем избежать ее. Но если

даже нам удастся победить ее, то сопротивление, встречаемое нами, дает нам знать, что мы находимся в присутствии чего-то, от нас не зависящего. Следовательно, рассматривая социальные явления как вещи, мы лишь сообразуемся с их природой.

В конце концов реформа, которую необходимо осуществить в социологии, во всех отношениях тождественна реформе, преобразовавшей в последние тридцать лет психологию. Точно так же как Конт и Спенсер провозглашают социальные факты фактами природы, не трактуя их, однако, как вещи, так и различные эмпирические школы давно уже признали естественный характер психологических явлений, все еще продолжая применять к ним чисто идеологический метод. Действительно, эмпиристы, так же как и их противники, пользовались исключительно интроспекцией. Факты же, наблюдаемые лишь на самом себе, слишком редки, скоропреходящи и изменчивы, чтобы приобрести значение и власть над нашими привычными понятиями о них. Когда же последние не подчинены другому контролю, у них нет противовеса, вследствие чего они занимают место фактов и составляют содержание науки. Так, ни Локк, ни Кондильяк не рассматривали психические явления объективно. Они изучали не ощущение, а определенную идею ощущения. Поэтому-то, хотя в некоторых отношениях они и подготовили почву для научной психологии, последняя возникла гораздо позднее, когда, наконец, дошли до понимания того, что состояния сознания могут и должны рассматриваться извне, а не с точки зрения испытывающего их сознания.

Такова великая революция в этой области. Все особые приемы, все новые методы, которыми обогатилась эта наука, суть лишь различные средства полнее осуществить эту основную идею. Такой же прогресс остается осуществить социологии. Нужно, чтобы из субъективной стадии, из которой она еще почти не вышла, она перешла к стадии объективной.

Этот переход к тому же здесь более легок, чем в психологии. Действительно, рсихичрпкие фад.тт.т по самой природе своей даны как состояния субъекта, от которого они, по-видимому, неотделимы. Так как они являются внутренними по самому определению, то их нельзя, по-видимому, рассматривать как внешние, не искажая при этом их природы. Для того чтобы рассматривать их таким образом, нужно не только усилие абстракции, но и целая совокупность приемов и уловок. Наоборот, в социальных фактах гораздо более естественно и непосредственно присутствуют все признаки вещи. Право существует в кодексах, ход повседневной жизни записывается в статистические таблицы, в исторические памятники, моды воплощаются в костюмах, вкусы — в произведениях искусства. В силу самой своей природы они стремятся установиться вне индивидуальных сознаний, так как господствуют над последними. Следовательно, для того чтобы видеть их как вещи, не нужно замысловато их истолковывать. С этой точки зрения у социологии перед психологией есть важное преимущество, которое не было замечено до сих пор, но которое должно ускорить ее развитие. Ее факты, может быть, труднее объяснить, так как они более сложны, но их легче уловить наблюдением. Психология же, наоборот, с большим трудом не только обрабатывает, но и добывает факты. Следовательно, можно думать, что, когда данный принцип социологического метода будет единодушно признан и применен на практике, социология будет прогрессировать с такой быстротой, которую нельзя даже представить себе, судя по медленности ее теперешнего развития. И тогда она даже опередит психологию, обязанную своим превосходством исключительно своему историческому старшинству¹⁰.

Правда, большая сложность социальных фактов делает изучение их более затруднительным, но в виде компенсации за это социология, будучи последней, может воспользоваться успехами, достигнутыми ранее появившимися науками, и многому научиться у них. Это использование уже существующего не может не ускорить ее развитие.

Но опыт наших предшественников показал нам, что, для того чтобы обеспечить практическое существование этой только что установленной истины, недостаточно ни теоретически доказать ее, ни даже проникнуться ею. Ум настолько склонен не признавать ее, что мы неизбежно вернемся к прежним заблуждениям, если не подчинимся строгой дисциплине, главнейшие правила которой будут сейчас изложены как короллары предыдущего правила.

1. Первый королларий состоит в следующем: *нужно систематически устранять все предпонятия.*

Специальное доказательство этого правила излишне, оно вытекает из всего, что было сказано раньше. Оно, кроме того, составляет основание всякого научного метода. Методическое сомнение Декарта есть, в сущности, лишь его применение. Если в процессе основания науки Декарт ставит себе за правило сомневаться во всех тех идеях, которые он получил раньше, то это значит, что он хочет пользоваться лишь научно обоснованными понятиями, т. е. понятиями, выработанными по устанавливаемому им методу; все те, которые он получает из другого источника, должны быть отброшены, по крайней мере временно. Мы уже видели, что теория идолов у Бэкона имеет тот же смысл. Обе великие доктрины, столь часто противопоставляемые друг другу, совпадают в этом основном пункте. Нужно, стало быть, чтобы социолог, и определяя предмет своих изысканий, и в ходе своих доказательств, категорически отказался от употребления таких понятий, которые образовались вне науки, для потребностей, не имеющих ничего общего с наукой. Нужно, чтобы он освободился от этих ложных очевидностей, которые тяготеют над умом толпы, чтобы он поколебал раз и навсегда иго эмпирических категорий, которое привычка часто делает тираническим. И если все же иногда необходимость вынудит его прибегнуть к ним, то есть, по крайней мере, он сделает это с сознанием их малой ценности, для того чтобы не отводить им в доктрине роли, которой они недостойны.

Это освобождение потому особенно трудно в социологии, что здесь часто бывает замешано чувство. Действительно, к нашим политическим и религиозным верованиям, к важным нравственным правилам мы относимся со страстью, совсем иначе, чем к объектам физического мира; этот страстный характер влияет на наше понимание и объяснение их. Идеи, разрабатываемые нами о них, так же близки нашему сердцу, как и их объекты, и приобретают поэтому такой авторитет, что не выносят противоречия. Ко всякому мнению, противоречащему им, относятся враждебно. Возьмем, например, какое-нибудь утверждение, несогласное с идеей патриотизма или индивидуального достоинства. Его будут отрицать, на какие бы доказательства оно ни опиралось. За ним не признают истинности и заранее не примут, а страсть для своего оправдания без труда внушит доводы, легко признаваемые решающими. У этих понятий может быть такой престиж, что они вообще будут нетерпимы к научному исследованию. Сам тот факт, что они и явления, ими выраженные, подвергаются холодному и сухому анализу, возмущает некоторые умы. Всякий, собирающийся изучать нравственность извне и как внешнюю реальность, кажется этим утонченным людям лишенным нравственного чувства, как вивисектор кажется толпе лишенным обыкновенной чувствительности. Не только не допускают, что эти чувства подлежат научному рассмотрению, но считают себя обязанными обращаться к ним для того, чтобы заниматься наукой о вещах, к которым они относятся.

«Горе ученому,— восклицает один красноречивый историк религии,— горе ему, если он приступает к божественным предметам, не сохраняя в глубине своего сознания, в неразрушимых недрах своего духа, там, где спят души предков, сокровенного святилища, из которого временами поднимается благоухание фимиама, строка псалма, страдальческий или победный крик, с каким он ребенком обращался к небу по примеру своих братьев и который внезапно связывает его с пророками»¹¹.

¹¹ Darmesteter L. Les prophetes d'Israel, p. 9.

Любое возражение будет слишком слабо против этой мистической доктрины, которая, как и всякий мистицизм, является, в сущности, лишь замаскированным эмпиризмом, отрицающим всякую науку. Чувства, имеющие объектом социальные вещи, не имеют преимущества перед другими чувствами, так как происхождение их то же самое. Они тоже образовались исторически, они также продукт человеческого опыта, но опыта неясного и неорганизованного. Они возникают не вследствие какого-то неизвестного трансцендентального предвосхищения действительности, но являются результирующей всевозможных впечатлений и эмоций, собранных беспорядочно, случайно, без методической интерпретации. Они не только не дают нам света высшего, чем свет разума, но образованы исключительно из неясных, хотя и сильных состояний. Приписывать им преимущество — значит отдать первенство низшим способностям разума над высшими, значит обречь себя на более или менее витиеватые словопрения. Наука, созданная таким образом, может удовлетворять лишь те умы, которые предпочитают мыслить скорее в согласии со своим чувством, чем с разумом, предпочитают непосредственные и туманные синтезы, даваемые ощущением ясному и терпеливому мыслительному анализу. Чувство — объект науки, а не критерий научной истины. Впрочем, нет науки, которая в начале своем не встречалась бы с подобными препятствиями. Было время, когда чувства, относящиеся к предметам физического мира и обладающие религиозным или нравственным характером, с не меньшей силой противились установлению физических наук. Можно, следовательно, надеяться, что этот предрассудок, постепенно изгоняемый то из одной науки, то из другой, исчезнет наконец и из последнего своего убежища — социологии и предоставит и здесь полный простор ученому.

2. Предыдущее правило носит отрицательный характер. Оно рекомендует социологу избавиться от гнета обыденных понятий и обратить свое внимание на факты. Но оно не говорит, каким образом он должен уловить последние с целью объективно изучить их.

Всякое научное исследование обращено на определенную группу явлений, отвечающих одному и тому же определению. Первый шаг социолога должен, следовательно, заключаться в определении тех вещей, которые он будет изучать, с тем чтобы и он сам, и другие знали, о чем идет речь. Это первое и обязательнейшее условие всякого доказательства и всякой проверки; в действительности можно контролировать какую-нибудь теорию, лишь умея различать факты, которые она должна объяснить. Кроме того, поскольку именно этим первоначальным определением устанавливается сам объект науки, то последний будет вещью или нет в зависимости от того, каким будет это определение.

Для того чтобы оно было объективным, нужно, очевидно, чтобы оно выражало явления не на основании идеи о них, а на основании внутренне присущих им свойств. Нужно, чтобы оно характеризовало их через составные элементы их природы, а не по соответствию их с более или менее идеальным понятием. Но в тот момент, когда исследование только начинается, когда факты не подверглись еще никакой обработке, могут быть добыты лишь те их признаки, которые являются достаточно внешними для того, чтобы быть непосредственно видимыми. Несомненно, признаки, скрытые глубже, более существенны. Их объяснительная ценность выше, но они неизвестны на этой фазе науки и могут быть предвосхищены лишь в том случае, если реальность будет заменена какой-нибудь концепцией. Следовательно, содержание этого основного определения нужно искать среди первых. С другой стороны, ясно, что это определение должно содержать в себе без исключения и различия все явления, обладающие теми же признаками, так как у нас нет ни основания, ни средств выбирать между ними. Эти свойства тогда — все известное нам о реальности; поэтому они должны иметь решающее значение при группировке фактов. У нас нет никакого другого критерия, который мог бы хотя бы отчасти ограничить действие предыдущего. Отсюда следующее правило: *Объектом исследования следует выбирать лишь группу явлений, определенных Предварительно некоторыми общими для них внешними признаками, и включать в это же исследование все явления, отвечающие данному*

определению. Мы констатируем, например, существование некоторого количества действий, обладающих тем внешним признаком, что совершение их вызывает со стороны общества особую реакцию, называемую наказанием. Мы составляем из них группу *sui generis*, которую помещаем в одну общую рубрику. Мы называем преступлением всякое наказуемое действие и делаем преступление, определяемое таким образом, объектом особой науки, криминологии. Точно так же мы наблюдаем внутри всех известных обществ существование еще отдельных маленьких обществ, узнаваемых нами по тому внешнему признаку, что они образованы из лиц, связанных между собой известными юридическими узами и большею частью кровным родством. Из фактов, сюда относящихся, мы составляем особую группу и называем ее особым именем; это — явления семейной жизни. Мы называем семьей всякий агрегат подобного рода и делаем ее объектом специального исследования, не получившего еще определенного наименования в социологической терминологии. Переходя затем от семьи вообще к различным семейным типам, надо применять то же правило. Приступая, например, к изучению клана, или материнской семьи, или семьи патриархальной, надо начать с определения их по тому же самому методу. Предмет каждой проблемы, будь она общей или частной, должен быть установлен согласно тому же принципу.

Действуя таким образом, социолог с первого шага вступает прямо в сферу реального. Действительно, такой способ классификации фактов зависит не от него, не от особого склада его ума, а от природы вещей. Признак, вследствие которого факты относятся к той или иной группе, может быть указан всем, признан всеми, и утверждения одного наблюдателя могут быть проверены другими. Правда, понятие, сформированное таким образом, не всегда совпадает и даже обыкновенно не совпадает с обыденным понятием. Так, например, очевидно, что факты свободомыслия или нарушения этикета, столь неуклонно и строго наказываемые во многих обществах, не считаются общим мнением преступными даже по отношению к этим обществам. Точно так же клан не есть семья в обыкновенном значении слова. Но это неважно, так как речь идет не просто о том, чтоб открыть средство, позволяющее нам достаточно надежно находить факты, к которым применяются слова обыденного языка и идеи, ими выражаемые. Нам нужно из различных деталей создавать новые понятия, приспособленные к нуждам науки и выражаемые при помощи специальной терминологии. Это не значит, конечно, что обыденное понятие бесполезно для ученого; нет, оно служит указателем. Он информирует нас, что где-то существует группа явлений, объединенных одним и тем же названием и, следовательно, по всей вероятности, имеющих общие свойства; так как он всегда в какой-то мере связан с явлениями, то иной раз он может даже указывать нам, хотя и в общих чертах, в каком направлении нужно искать их. Но так как он сформировался беспорядочно, то вполне естественно, что он не вполне совпадает с научным понятием, созданным в связи с ним¹².

¹² На практике всегда отправляются от обыденного понятия и обыденного слова. Ищут, нет ли среди вещей, смутно обозначаемых этим словом, таких, которые имели бы общие внешние признаки. Если таковые находятся и если понятие, образованное подобной группировкой фактов, хотя и не вполне (что редко), но, по крайней мере в большей части своей, совпадает с понятием обыденным, то можно продолжать обозначать его тем же словом, как и последнее, и можно сохранить в науке выражение, употребляющееся в разговорном языке. Но если отклонение слишком значительно, если обыденное понятие смешивает в себе ряд различных понятий, то создание новых и специальных терминов становится необходимым.

Как бы очевидно и важно ни было это правило, оно почти не соблюдается в социологии. Именно потому, что в ней говорится о таких вещах, о которых мы говорим постоянно, как, например, семья, собственность, преступление и т. д., социологу кажется чаще всего бесполезным предварительно и точно определять их. Мы так привыкли пользоваться этими словами, беспрестанно употребляемыми нами в разговоре, что нам кажется

бесполезным определять тот смысл, в котором мы их употребляем. Ссылаются просто на общепринятое понятие. Последние же очень часто многозначны. Эта многозначность служит причиной того, что под одним и тем же термином и в одном и том же объяснении соединяют вещи, в действительности очень различные. Отсюда возникает неисправимая путаница. Так, существует два вида моногамических союзов: одни фактические, другие носят юридический характер. В первых у мужа бывает лишь одна жена, хотя юридически он может иметь их несколько; во вторых закон воспрещает им быть полигамными. Фактическая моногамия встречается у многих видов животных и в некоторых низших обществах, и встречается не спорадически, а так же часто, как если бы она предписывалась законом. Когда народ рассеян на обширном пространстве, общественная связь очень слаба, и вследствие этого индивиды живут изолированно друг от друга. Тогда каждый мужчина, естественно, старается добыть себе жену, и только одну, потому что в этом состоянии разобщения ему трудно иметь их несколько. Обязательная же моногамия наблюдается, наоборот, лишь в наиболее развитых обществах. Эти два вида супружеских союзов имеют, следовательно, очень различное значение, а между тем они обозначаются одним и тем же словом, так, как говорят о некоторых животных, что они моногамны, хотя у них нет ничего похожего на юридические обязательства. Так, Спенсер, приступая к изучению брака, употребляет слово «моногамия», не определяя его, в обыкновенном и двусмысленном значении. Отсюда вытекает, что эволюция брака кажется ему содержащей необъяснимую аномалию, так как он думает, что высшая форма полового союза наблюдается уже на первых этапах исторического развития, что она вскоре исчезает в промежуточном периоде и затем появляется снова. Из этого он заключает, что нет определенного соотношения между социальным прогрессом вообще и прогрессивным движением к совершенному типу семейной жизни. Надлежащее определение предупредило бы эту ошибку¹³.

То же отсутствие определения позволяло иногда утверждать, что демократия в равной мере встречается и в начале, и в конце истории. Истина в том, что первобытная демократия и теперешняя весьма отличаются друг от друга.

В других случаях тщательно стараются определить подлежащий исследованию объект, но, вместо того чтобы включить в определение и сгруппировать под одной и той же рубрикой все явления, имеющие одни и те же внешние свойства, между ними производят сортировку. Выбирают некоторые из них, нечто вроде элиты, и только за ними признают право иметь данные свойства. Что же касается остальных, то их принимают как бы за Узурпаторов этих отличительных признаков и с ними не считаются. Но легко предвидеть, что таким образом можно получить лишь субъективное и искаженное понятие. Действительно, указанное отбрасывание может быть сделано лишь в соответствии с предвзятой идеей, потому что вначале никакое исследование не успело еще установить наличие подобной узурпации, даже если предположить, что она возможна. Выбранные явления были взяты лишь потому, что они более других отвечали той идеальной концепции, которая была создана об этом виде реальности. Например, Гарофало в начале своей «Криминологии» очень хорошо доказывает, что точкой отправления этой науки должно быть «социологическое понятие о преступлении»¹⁴.

¹⁴ *Garofalo. Criminologie, p. 2.*

Но, для того чтобы создать это понятие, он не сравнивает без различия все те действия, которые в обществах разного типа неуклонно влекли за собой наказания, а только некоторые из них, именно те, которые оскорбляют средние и неизменные элементы нравственного чувства. Что же касается нравственных чувств, исчезнувших в ходе эволюции, то они кажутся ему не основанными на природе вещей по той причине, что им не удалось сохраниться. Вследствие этого действия, считавшиеся преступными, так как они оскорбляли эти чувства, заслужили, по его мнению, это название лишь благодаря

случайным и более или менее патологическим обстоятельствам. Но такое исключение он делает лишь вследствие сугубо субъективной концепции нравственности. Он отталкивается от идеи, что нравственная эволюция, взятая у самого своего источника или вблизи его, изобилует всякого рода шлаком и примесями, которые она затем постепенно уничтожает, и лишь теперь ей удалось избавиться от всех случайных элементов, нарушавших ее течение. Но этот принцип не является ни очевидной аксиомой, ни доказанной истиной, это лишь гипотеза, которую к тому же ничто не подтверждает. Изменчивые элементы нравственного чувства не менее обусловлены природой вещей, чем элементы неизменные; изменения, через которые прошли первые, доказывают лишь, что сами вещи изменились. В зоологии специфические формы, присущие низшим видам, считаются не менее естественными, чем формы, повторяющиеся на всех ступенях иерархии видов животных. Точно так же действия, считающиеся преступными в первобытных обществах и утратившие это наименование, действительно преступны по отношению к этим обществам, как и те, за которые мы продолжаем наказывать теперь. Первые соответствуют изменчивым условиям социальной жизни, вторые — условиям постоянным, но первые не более искусственны, чем вторые.

Более того: даже если бы эти действия незаконно приняли криминологический характер, их все-таки не следует радикально отделять от других, так как болезненные формы любого явления имеют ту же природу, что и формы нормальные, вследствие чего для определения этой природы необходимо наблюдать как первые, так и вторые. Болезнь не противопоставляется здоровью, это две разновидности одного и того же рода, взаимно проясняющие друг друга. Это правило, давно уже признанное и практикуемое как в биологии, так и в психологии, социолог точно так же должен уважать. Если только не допускать, что одно и то же явление может быть вызвано то одной, то другой причиной, т. е. если не отрицать принцип причинности, то причины, придающие действию отличительный признак преступления «ненормальным» образом, в видовом отношении не могут отличаться от причин, вызывающих тот же результат нормальным порядком; вторые отличаются от первых лишь степенью или тем, что они не действуют при той же совокупности обстоятельств. Ненормальное преступление, стало быть, все равно преступление и должно поэтому входить в определение преступления. Что же получается? А то, что Гарофало принимает за род то, что есть лишь вид или даже простая разновидность. Факты, к которым прилагается его формула преступности, представляют лишь ничтожное меньшинство из тех фактов, которые она должна была бы охватывать, так как она не подходит ни к Религиозным преступлениям, ни к преступлениям против этикета, церемониала, традиций и пр., которые, хотя и исчезли из наших современных кодексов, зато заполняют почти все уголовное право предшествующих обществ. Это такая же ошибка в методе, как и та, вследствие которой некоторые ученые отказывают дикарям во всякой нравственности¹⁵.

¹⁵ *Lubbock. Les origines de la civilisation, ch. VIII.* Не менее неправильно говорить вообще, что древние религии безнравственны. Истина же в том, что у них своя собственная нравственность.

Они исходят из идеи, что только наша нравственность есть нравственность; но она, очевидно, неизвестна первобытным народам или существует у них в зародышевом состоянии. Но это определение произвольно. Применим наше правило — и все изменится. Для того чтобы определить, нравственно или безнравственно какое-нибудь предписание, мы должны рассмотреть, имеет оно или нет внешний признак нравственности. Признак этот заключается в репрессивной диффузной санкции, т. е. в осуждении общественным мнением всякого нарушения этого предписания. Всякий раз, когда мы встречаемся с фактом, содержащим этот признак, мы не имеем права отказать ему в названии нравственного, так как этот признак служит доказательством тождества его природы с природой других нравственных фактов. Правила же такого рода не только встречаются в

низших обществах, но они в них еще многочисленнее, чем в обществах цивилизованных. Масса действий, предоставленных теперь свободному суждению, предписывалась тогда как обязательная. Ясно, в какие заблуждения можно впасть, когда или не дают определения, или определяют плохо.

Но могут сказать: определяя явления по их видимым признакам, не отдаем ли мы тем самым предпочтение поверхностным свойствам в ущерб основным атрибутам? Не значит ли это, перевернув логический порядок, базироваться на верхушках, а не на основаниях вещей?

Так, определяя преступление через наказание, почти неизбежно подвергают себя обвинению в желании вывести преступление из наказания, или, согласно известной цитате, в желании видеть источник стыда в эшафоте, а не в искупаемом действии. Но упрек покоится на смешении. Так как определение, правило которого мы только что сформулировали, помещается в начале научного исследования, то оно не имеет целью выражать сущность реальности, оно должно лишь дать нам возможность достигнуть этого в дальнейшем. Единственная его функция заключается в том, чтобы привести нас в соприкосновение с вещами, а так как последние доступны разуму лишь извне, то оно и выражает их по их внешним свойствам. Но оно не объясняет эти вещи; оно обеспечивает лишь начальную точку опоры, необходимую нам для объяснения. Конечно, не наказание создает преступление, но лишь посредством его преступление обнаруживается внешним образом, и от него поэтому мы должны отталкиваться, если хотим дойти до понимания преступления.

Приведенное возражение было бы обоснованно лишь в том случае, если бы внешние признаки были в то же время случайными, т. е. если бы они не были связаны с основными свойствами. Действительно, в таких условиях наука, отметив их, не имела бы никакой возможности идти дальше; она не могла бы проникнуть глубже в реальность, так как не было бы никакого связующего звена между поверхностью и глубиной. Но если только принцип причинности не есть пустое слово, то в тех случаях, когда определенные признаки одинаково и без всякого исключения встречаются во всех явлениях данной группы, можно быть уверенным, что они тесно связаны с природой этих явлений и соответствуют ей. Если некая группа действий одинаково представляет ту особенность, что с ней связана уголовная санкция, то это значит, что существует тесная связь между наказанием и основными свойствами этих действий. Поэтому, как бы поверхностны ни были эти свойства, если они наблюдались с помощью правильного метода, они хорошо указывают ученому тот путь, по которому он должен следовать, чтобы проникнуть в глубину вещей. Они являются первым и необходимым звеном той цепи, которую образуют научные объяснения.

Так как внешняя сторона вещей дается нам ощущением, то, резюмируя, можно сказать, что наука, чтобы быть объективной, должна исходить не из понятий, образовавшихся без нее, а из ощущений. Она должна заимствовать прямо у чувственных данных элементы своих первоначальных определений. И действительно, достаточно представить себе, в чем состоит дело науки, чтобы понять, что она не может действовать иначе. Ей нужны понятия, выражающие вещи адекватно, такими, каковы они есть, а не такими, какими их полезно представлять себе для практики. Те же понятия, которые установились без ее помощи, не отвечают этому условию. Нужно, стало быть, чтобы она создала новые, а для этого, устраняя общепринятые понятия и слова, их выражающие, она должна вернуться к ощущению — первой и необходимой основе всех понятий. Именно из ощущения исходят все общие идеи, истинные и ложные, научные и ненаучные. Точка отправления науки или умозрительного знания не может, следовательно, быть иной, чем точка отправления обыденного или практического знания. Лишь затем, в способе обработки этого общего материала начинаются различия.

3. Но ощущение вполне может быть субъективным. Поэтому в естественных науках принято за правило устранять чувственные данные, рискующие быть слишком

субъективными, и сохранять исключительно те, которым свойственна достаточная степень объективности. Таким образом, физик заменяет неясные впечатления, производимые температурой или электричеством, зрительным представлением колебаний термометра или электрометра. Социолог должен прибегать к тем же предосторожностям. Внешние признаки, на основании которых он определяет объект своих исследований, должны быть объективны, насколько только это возможно.

Можно сформулировать принцип, что социальные факты тем легче могут быть представлены объективно, чем более полно освобождены они от индивидуальных фактов, в которых они проявляются.

Действительно, ощущение тем объективнее, чем постояннее объект, к которому оно относится, так как условие всякой объективности — существование постоянного и неизменного ориентира, к которому может быть обращено представление и который позволяет исключить из него все изменчивое, т. е. субъективное. Если единственные данные нам ориентиры сами изменчивы и никогда не остаются равными себе, то нет никакой общей меры, и у нас нет никакого средства различать, что в наших впечатлениях зависит от внешнего мира, а что исходит от нас. Но пока социальная жизнь не изолирована и не существует отдельно от воплощающих ее событий, она обладает именно этим свойством, вследствие того что события эти в разных случаях и ежеминутно меняют свой облик, сообщая ей свою подвижность. Она состоит тогда из ряда свободных течений, которые постоянно находятся в процессе преобразований и не могут быть схвачены взором наблюдателя. Значит, это не та сторона, с которой ученый может приступить к изучению социальной реальности. Но мы знаем, что последняя содержит в себе ту особенность, что, не переставая быть самой собой, она способна кристаллизоваться. Вне индивидуальных действий, ими возбуждаемых, коллективные привычки выражаются в определенных формах, юридических и нравственных правилах, народных поговорках, фактах социальной структуры и т. д. Так как эти формы устойчивы и меняются в зависимости от того, как их применяют, то они составляют устойчивый объект, постоянную меру, всегда доступную наблюдателю и не оставляющую места для субъективных впечатлений и чисто личных представлений. Юридическое правило есть то, что оно есть, и нет двух способов понимать его. Поскольку, с другой стороны, эти обычаи являются консолидированной социальной жизнью, то правомерно — если нет указаний на противоположное¹⁶ — изучать последнюю через них.

Следовательно, когда социолог предпринимает исследование какого-нибудь класса социальных фактов, он должен стараться рассматривать их с той стороны, с которой они представляются изолированными от своих индивидуальных проявлений. В силу этого принципа мы изучали общественную солидарность, ее различные формы и их эволюцию через систему юридических правил, их выражающих¹⁷.

¹⁷ Нужно было бы, например, иметь основания считать, что в данный момент право больше не выражает истинного состояния социальных отношений, для того чтобы указанная замена не была правомерной.

¹⁶ См.: *Division du travail social*, I, 1.

Точно так же, если пытаться различать и классифицировать разные типы семьи по литературным описаниям путешественников, а иной раз и историков, то можно подвергнуться опасности смешать самые различные виды, сблизить самые отдаленные типы. Если же, наоборот, основанием этой классификации сделать юридическое строение семьи, особенно наследственное право, то мы получим объективный критерий, который, не будучи безупречным, предупредит тем не менее многие заблуждения¹⁸. Допустим, мы хотим классифицировать различные виды преступлений. Тогда надо постараться воссоздать образ жизни, профессиональные обычаи, употребляемые в различных частях преступного мира, и мы признаем столько же криминологических типов, сколько различ-

ных форм представляет его организация. Для того чтобы постичь нравы, народные верования, нужно обратиться к пословицам и поговоркам, их выражающим. Конечно, действуя таким образом, мы оставляем временно вне науки конкретное содержание коллективной жизни, а между тем, как бы изменчиво оно ни было, мы не имеем права *a priori* постулировать его непознаваемость. Но если хотеть следовать путем правильного метода, то первые пласты науки нужно утверждать на твердой почве, а не на зыбком песке. Нужно приступить к миру социальных явлений с тех сторон, с которых он наиболее доступен научному исследованию. Лишь позднее можно будет повести исследование дальше и, последовательно приближаясь, постепенно проникнуть в эту ускользающую реальность, которую, быть может, ум человеческий никогда не будет в силах овладеть вполне.

¹⁸ Ср. нашу работу: Introduction a la sociologie de la famille. Annales de la faculte des lettres de Bordeaux. 1889.

ГЛАВА III ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАЗЛИЧИЮ НОРМАЛЬНОГО И ПАТОЛОГИЧЕСКОГО

Наблюдение, осуществляемое согласно упомянутым правилам, охватывает два разряда фактов, весьма различных по некоторым своим признакам: факты, которые именно таковы, какими они должны быть, и факты, которые должны бы были быть другими,— явления нормальные и патологические. Мы уже видели, что их необходимо одинаково включать в определение, которым должно начинаться всякое исследование. Но если в некоторых отношениях они и одной и той же природы, то все-таки они составляют две разновидности, которые важно различать. Но располагает ли наука средствами, позволяющими провести это различие?

Этот вопрос в высшей степени важен, так как от решения его зависит представление о роли науки, особенно науки о человеке. По одной теории, сторонники которой принадлежат к самым различным школам, наука ничего не может сообщить нам о том, чего мы должны хотеть. Ей известны, говорят, лишь факты, которые все имеют одинаковую ценность и одинаковый интерес; она их наблюдает, объясняет, но не судит. Для нее нет таких фактов, которые были бы достойны порицания. Добро и зло не существуют в ее глазах. Она может сообщить нам, каким образом причины вызывают следствия, но не какие цели нужно преследовать. Для того чтобы знать не то, что есть, а то, что желательно, нужно прибегнуть к внушениям бессознательного, каким бы именем его ни называли: инстинктом, чувством, жизненной силой и пр. Наука, говорит один уже упомянутый автор, может осветить мир, но она оставляет тьму в сердцах; и само сердце должно нести себе свой собственный свет. Наука, таким образом, оказывается лишенной, или почти лишенной, всякой практической силы и вследствие этого не имеющей большого права на существование, так как зачем трудиться над познанием Реального, если это познание не может служить нам в жизни? Быть может, скажут, что, открывая нам причины явлений, она доставляет нам средство вызывать их по нашему желанию и вследствие этого осуществлять цели, преследуемые нашей волей по сверхнаучным основаниям. Но всякое средство в известном отношении само является целью, так как, для того чтобы пустить его в ход, его надо желать так же, как и цель, им преследуемую. Всегда существуют разные пути, ведущие к данной цели, и надо, следовательно, выбирать между ними. Если же наука не может помочь нам в выборе лучшей цели, то как же может она указать нам лучший путь для ее достижения? Почему станет она нам рекомендовать наиболее быстрый путь предпочесть наиболее экономичному, наиболее верный — наиболее простому, или наоборот? Если она не может руководить нами в определении высших целей, то она так же бессильна, когда дело касается этих второстепенных и подчиненных целей, называемых средствами.

Идеологический метод позволяет, правда, избежать этого мистицизма, и желание избежать последнего и было отчасти причиной устойчивости этого метода. Действительно, лица, применявшие его, были слишком рационалистичны, чтобы допустить, что человеческое поведение не нуждается в руководстве посредством рефлексии, и тем не менее они не видели в явлениях, взятых самих по себе, независимо от всяких субъективных данных, ничего, что позволило бы классифицировать их по их практической ценности. Казалось, следовательно, что единственное средство судить о них — это подвести их под какое-нибудь понятие, которое господствовало бы над ними. Поэтому использование понятий, которые управляли бы сличением фактов, вместо того чтобы вытекать из них, становилось необходимостью всякой рациональной социологии. Но мы знаем, что если в этих условиях практика и опирается на рефлексия, то последняя, будучи использована таким образом, все-таки ненаучна.

Решение задачи, поставленной нами, позволит нам отстоять права разума, не впадая в идеологию. Действительно, для обществ, как и для индивидов, здоровье хорошо и желательно, болезнь же, наоборот, плоха, и ее следует избегать. Если, стало быть, мы найдем объективный критерий, внутренне присущий самим фактам и позволяющий нам научно отличать здоровье от болезни в разных категориях социальных явлений, то наука будет в состоянии прояснить практику, оставаясь в то же время верной своему методу. Конечно, так как теперь она не достигла еще глубокого познания индивида, то она может дать нам лишь общие указания, которые могут быть конкретизированы надлежащим образом лишь при непосредственном восприятии отдельной личности. Состояние здоровья, как оно может быть определено наукой, не подойдет вполне ни к одному индивиду, так как тут приняты в расчет лишь наиболее общие условия, от которых все более или менее уклоняются; тем не менее это драгоценный ориентир для поведения. Из того, что этот ориентир нужно прилаживать затем к каждому отдельному случаю, не следует, что он лишен всякого интереса для познания. Наоборот, он представляет собою норму, которая должна служить основанием для всех наших практических рассуждений. В таких условиях нельзя утверждать, что мысль бесполезна для действия. Между наукой и искусством нет более бездны, одно является непосредственным продолжением другой. Наука, правда, может дойти до фактов лишь при посредничестве искусства, но искусство является лишь продолжением науки. И можно также спросить себя, не должна ли уменьшаться практическая немощь последней, по мере того как устанавливаемые ею законы будут все полнее и полнее выражать индивидуальную реальность.

I

Обыкновенно на боль смотрят как на показатель болезни, и несомненно, что вообще между этими двумя фактами существует связь, не лишенная постоянства и точности. Существуют заболевания тяжелые, но безболезненные; с другой стороны, незначительные расстройства могут причинять настоящее мучение, как, например, засорение глаза кусочком угля. В некоторых случаях отсутствие боли или же удовольствия являются симптомами болезни. Существует неуязвимость, которая носит патологический характер. В таких обстоятельствах, в которых здоровый человек страдал бы, неврастеник может испытывать чувство наслаждения, болезненный характер которого неоспорим. И наоборот, боль сопровождает ряд состояний, таких, как голод, усталость, роды, которые суть явления чисто физиологические.

Можем ли мы сказать, что здоровье, заключааясь в счастливом развитии жизненных сил, узнается по полной адаптации организма к своей среде, и можем ли мы, наоборот, назвать болезнью все, что нарушает эту адаптацию? Но, во-первых (нам придется впоследствии вернуться к этому вопросу), вовсе не доказано, чтобы всякое внутреннее состояние организма находилось в соответствии с каким-либо внешним условием. Кроме того, если бы даже этот критерий мог действительно служить отличительным признаком здоровья, то сам он нуждался бы еще в другом, дополнительном критерии, так как, во всяком

случае, нам надо было бы указать, с помощью какого принципа можно решить, что такой-то способ адаптации совершеннее другого.

Нельзя ли разграничить их по их отношению к нашим шансам на долгую жизнь? Здоровье было бы тогда таким состоянием организма, при котором эти шансы максимальны, болезнь же была бы, наоборот, тем, что их уменьшает. Действительно, можно не сомневаться в том, что вообще следствием болезни является ослабление организма. Но не одна болезнь вызывает этот результат. Репродуктивные функции у некоторых низших видов неизбежно влекут за собой смерть и даже у наивысших видов бывают связаны с риском. Между тем они нормальны. Старость и детство имеют те же следствия, так как старик и ребенок наиболее подвержены влиянию разрушительных факторов. Но разве они больны и разве нужно признавать здоровье только за зрелым человеком? Станным было бы такое суждение в области физиологии и здоровья! Если же старость уже сама по себе болезнь, то как отличить здорового старика от болезненного? С такой точки зрения нужно будет и менструацию отнести к числу болезненных явлений, так как, вызывая известные расстройства, она увеличивает восприимчивость женщины к заболеванию. Но как же назвать болезненным такое состояние, отсутствие или преждевременное исчезновение которого бесспорно составляет патологическое явление? В этом случае рассуждают так, как будто бы в здоровом организме всякая мелочь должна играть полезную роль, как будто всякое внутреннее состояние точно отвечает какому-то внешнему условию и вследствие этого способствует обеспечению жизненного равновесия и уменьшению шансов смерти. Наоборот, есть основание предполагать, что некоторые анатомические или функциональные элементы не служат прямо ничему, а существуют просто потому, что они не могут не существовать ввиду общих условий жизни. Их тем не менее нельзя назвать болезненными, так как болезнь есть прежде всего нечто такое, чего можно избежать и что не содержится в нормальном устройстве живого существа. Но вместо укрепления организма они могут иногда уменьшать силу его сопротивления и вследствие этого увеличивают риск смерти.

С другой стороны, болезнь не всегда имеет результат, в функции которого ее хотят определить. Нет ли массы повреждений, слишком легких для того, чтобы им можно было приписать ощутимое влияние на жизненные основы организма? Даже среди наиболее серьезных некоторые не имеют никаких вредных последствий, если мы умеем бороться с ними тем оружием, которым располагаем. Человек, страдающий гастритом, может прожить так же долго, как и здоровый, если он соблюдает известную гигиену. Конечно, он вынужден заботиться о себе, но не вынуждены ли мы все делать это и может ли иначе поддерживаться жизнь? У каждого из нас своя гигиена; гигиена больного не похожа на гигиену современного ему среднего человека его среды, но это единственная разница между ними в этом отношении. Болезнь не делает нас совсем особыми существами, не приводит нас в состояние непоправимой дезадаптации, она принуждает нас лишь адаптироваться иначе, чем большинство окружающих. Кто нам сказал, что не существует болезней, которые в конце Концов оказываются даже полезными? Оспа, прививаемая нам вакциной, является настоящей болезнью, которую мы вызываем у себя добровольно, и тем не менее она увеличивает наши шансы на выживание. Существует, может быть, много других случаев, в которых расстройство, причиненное болезнью, незначительно по сравнению с создаваемым ею иммунитетом.

Наконец, и это самое важное, данный критерий чаще всего неприменим. В крайнем случае можно установить, что смертность, самая низкая, какая только известна, встречается в такой-то определенной группе индивидов, но нельзя доказать, что не может быть смертности еще меньшей. Кто сказал нам, что не может быть другого устройства, которое еще более уменьшило бы ее? Следовательно, данный фактический минимум случаев смерти не является ни доказательством полной адаптации, ни надежным признаком здоровья, если иметь в виду предыдущее определение. Кроме того, очень трудно установить подобную группу и изолировать ее от всех других групп, как это нужно было

бы для того, чтобы наблюдать органическое устройство, присущее только ей и служащее предполагаемой причиной ее превосходства. Если дело касается болезни, исход которой обыкновенно смертелен, то очевидно, что шансы существа на выживание незначительны. Но доказательство особенно трудно, когда болезнь не такова, чтобы прямо повлечь за собой смерть. На самом деле существует лишь один объективный способ доказать, что существа, поставленные в определенные условия, имеют меньше шансов выжить, чем другие; это — показать, что в действительности большинство из них живет менее долго. Но если в случаях чисто индивидуальных болезней это доказательство часто возможно, то оно совершенно неосуществимо в социологии, потому что у нас нет той точки опоры, которой располагает биолог, а именно цифры средней смертности. Мы не можем даже с приблизительной точностью определить, в какой момент рождается общество и в какой оно умирает. Все эти проблемы, которые далеко не решены даже в биологии, для социолога еще окутаны тайной. Кроме того, события, происходящие в процессе социальной жизни и повторяющиеся почти идентично во всех обществах того же типа, слишком разнообразны, для того чтобы можно было определить, в какой мере одно из них могло способствовать ускорению окончательной развязки. Когда дело касается индивидов, то ввиду их многочисленности можно выбрать такие, которые сходны лишь в том, что все имеют одну и ту же аномалию; последняя, таким образом, изолируется от всех сопровождающих явлений, и потому становится возможным изучать ее влияние на организм. Если, например, у тысячи взятых наугад ревматиков смертность значительно выше средней, то существуют веские основания приписать этот результат ревматическому диатезу. Но поскольку в социологии каждый социальный вид имеет лишь небольшое число представителей, то поле сравнения слишком ограничено, чтобы подобного рода группировки могли иметь доказательную силу.

За отсутствием же такого фактического доказательства остаются возможными лишь дедуктивные рассуждения, выводы которых имеют значение лишь субъективных предположений. Таким путем докажут не то, что такое-то событие действительно ослабляет социальный организм, а то, что оно должно его ослаблять. С этой целью укажут, что оно непременно повлечет за собой такое-то вредное для общества последствие, и на этом основании его объявят болезненным. Но даже если предположить, что оно действительно вызовет это последствие, может случиться, что отрицательные стороны этого последствия будут вознаграждены, и с избытком, преимуществами, которых не замечают. Кроме того, оно может быть названо гибельным лишь при условии, что оно расстраивает нормальное осуществление функций. Но такое доказательство предполагает, что задача уже решена, так как оно возможно лишь при условии, что заранее определено, в чем заключается нормальное состояние, и, следовательно, уже известно, по какому признаку его можно узнать. Но можно ли его строить *a priori* из разных частей? Излишне говорить, чего может стоить подобная постройка. Вот почему в социологии, как и в истории, одни и те же события объявляются то благотворными, то пагубными в зависимости от личных пристрастий ученого. Так, неверующий теоретик постоянно отмечает в остатках веры, сохраняющихся среди общего потрясения религиозных воззрений, болезненное явление, тогда как для верующего великой социальной болезнью нашего времени является само неверие. Точно так же для социалиста нынешняя экономическая организация есть факт социальной тератологии*2*, тогда как для ортодоксального экономиста патологическими по преимуществу являются социалистические тенденции. И каждый для подтверждения своего мнения находит силлогизмы, по его мнению правильно построенные.

Общий недостаток этих определений состоит в желании преждевременно дойти до сущности явлений. Они предполагают доказанными такие положения, которые — оставляя в стороне их истинность или ложность — могут быть доказаны лишь тогда, когда наука достаточно продвинулась вперед. Для нас, впрочем, это значит следовать установленному выше правилу. Вместо того чтобы стремиться сразу определить,

отношения нормального и ненормального состояний с жизненными силами, поименно вначале просто какой-нибудь внешний, непосредственно воспринимаемый, но объективный признак, который позволил бы нам отличать друг от друга эти два разряда фактов.

Всякое социологическое явление, как и всякое, впрочем, биологическое явление, способно, оставаясь, в сущности, тем же самым, принимать различные формы, смотря по обстоятельствам. Эти формы бывают двух родов. Одни распространены на всем пространстве вида; они встречаются если и не у всех его представителей, то, по крайней мере, у большинства. Если они и не тождественны во всех конкретных случаях, в которых наблюдаются, то все-таки их изменения от одного субъекта к другому весьма ограничены. Другие формы, наоборот, носят исключительный характер; они не только встречаются у меньшинства, но и здесь чаще всего не продолжают в течение всей жизни индивида. Они представляют собой исключение как в пространстве, так и во времени¹.

¹ С помощью такого определения можно отличать болезнь от уродства. Последнее есть исключение лишь в пространстве: оно не встречается у большинства индивидов, но продолжается всю жизнь. Впрочем, ясно, что эти два разряда фактов различаются лишь в степени, но не по существу; границы между ними весьма неопределенны, так как болезнь не лишена способности к распространению, а уродство — к определенному изменению. Следовательно, определяя их, нельзя их резко разграничить. Различие между ними не может быть более резким, чем различие между морфологическим и Физиологическим, потому что в общем болезнь есть ненормальность физиологического порядка, а уродство — ненормальность порядка анатомического.

Перед нами, следовательно, две особые разновидности явлений, которые должны обозначаться различными терминами. Мы будем называть нормальными факты, обладающие формами наиболее распространенными — другие же назовем болезненными или патологическими. Если условиться называть-средним типом то абстрактное существо, которое мы получим, соединив в одно целое, в нечто вроде абстрактной индивидуальности, свойства, чаще всего встречающиеся в пределах вида и взятые в их наиболее распространенных формах, то можно сказать, что нормальный-тип совпадает с типом средним и что всякое отклонение, от этого эталона здоровья есть болезненное явление. Правда, средний тип не может быть определен так же точно, как тип индивидуальный, так как его составные атрибуты не вполне устойчивы и способны изменяться. Но нельзя сомневаться, что он может быть установлен, так как он составляет непосредственный предмет науки, сливаясь с типом родовым. Физиолог изучает функции среднего организма, то же можно сказать и о социологе. Когда мы умеем отличать друг от друга социальные виды (об этом см. ниже), тогда в любое время можно найти, какова наиболее распространенная форма явления в определенном виде.

Мы видим, что факт может быть назван патологическим только по отношению к данному виду. Условия здоровья и болезни не могут быть определены *in abstracto* и абсолютно. В биологии это правило признано всеми. Никогда никому не приходило в голову, чтобы нормальное для моллюска было также нормальным и для позвоночного. У каждого вида свое здоровье, потому что у него свой собственный тип, и здоровье самых низких видов не меньше, чем здоровье наиболее высоких. Тот же принцип применим и к социологии, хотя здесь он часто не признается. Нужно отказаться от весьма распространенной еще привычки судить об институте, обычае, нравственном правиле так, как будто бы они были дурны или хороши сами по себе и благодаря самим себе для всех социальных типов без различия.

Так как масштаб, с помощью которого можно судить о состоянии здоровья или болезни, изменяется вместе с видами, то он может изменяться и для одного и того же вида, если последний, в свою очередь, подвергнется изменениям. Таким образом, с чисто биологической точки зрения нормальное для дикаря не всегда нормально для человека цивилизованного, и наоборот². Существует разряд изменений, которые особенно важно принимать во

внимание, потому что они происходят регулярно во всех видах: это изменения, связанные с возрастом. Здоровье старика не такое, как у зрелого человека, точно так же, как здоровье последнего отличается от здоровья ребенка. То же самое можно сказать и об обществах³.

² Например, дикарь, у которого *был бы* ограниченный пищевой канал и развитая нервная система здорового цивилизованного человека, в своей среде был бы больным.

³ Мы сокращаем эту часть нашего изложения, так как относительных социальных фактов в целом мы могли бы лишь повторить здесь то, что сказано нами в другом месте о делении нравственных фактов на нормальные и ненормальные. См.: *Division du travail social*, p. 33—39.

Следовательно, социальный факт можно назвать нормальным для определенного социального вида только относительно определенной фазы его развития. Поэтому, для того чтобы узнать, имеет ли он право на это наименование, недостаточно наблюдать, в каких формах он встречается в бытии принадлежащих к данному виду обществ; нужно еще рассматривать последние в соответствующей фазе их эволюции.

По-видимому, мы ограничились лишь определением слов, так как только сгруппировали явления по их сходствам и различиям и дали название полученным группам. Но в действительности понятия, сформированные нами таким образом, хотя и имеют то преимущество, что узнаются по объективным и легко воспринимаемым признакам, однако не расходятся с обыденным понятием о здоровье и болезни. В самом деле, разве болезнь не представляется всем случайностью, хотя и допускаемой природой живого существа, однако для него необычной? Древние философы, выражая это представление, говорили, что болезнь не вытекает из природы вещей, что она есть продукт известного рода случайности, внутренне присущей организмам. Такой взгляд, несомненно, есть отрицание всякой науки, так как в болезни так же мало чудесного, как и в здоровье; она в той же мере заложена в природе существ. Только она не заложена в их нормальной природе, не содержится в их обычной организации и не связана с условиями существования, от которых они обыкновенно зависят. Наоборот, типичным для вида является состояние здоровья. Невозможно даже представить себе вид, который сам по себе и в силу своей основной организации был бы неизлечимо болен. Вид есть норма по преимуществу и вследствие этого не может содержать в себе ничего ненормального.

Правда, в обыденной речи под здоровьем понимают также состояние, в целом предпочитаемое болезни. Но это определение содержится уже в предыдущем. В самом деле, свойства, совокупность которых образует нормальный тип, смогли сделаться общими для данного вида не без причины. Эта общность сама по себе является фактом, нуждающимся в объяснении и обнаружении причины. Но она была бы необъяснима, если бы самые распространенные формы организации не были также, *по крайней мере в целом*, и самыми полезными. Как могли бы они сохраниться при столь большом разнообразии обстоятельств, если бы они не позволяли индивидам лучше сопротивляться разрушительным воздействиям? Наоборот, если другие формы более редки, то очевидно, что *в среднем числе случаев* представляющие их субъекты выживают с большим трудом. Наибольшая распространенность первых служит, стало быть, доказательством их превосходства⁴.

Гарофало, правда, попытался отличить болезненное от ненормального (см.: *Criminologie*, p. 109, 110). Но в доказательство он приводит лишь два следующих аргумента. 1) Слово «болезнь» обозначает всегда нечто стремящееся к полному или частичному разрушению организма; если нет разрушения, то имеет место выздоровление, а не устойчивое состояние, как во многих аномалиях. Однако мы видели, что аномалия в среднем числе случаев также содержит в себе угрозу для жизни. Правда, это не всегда так, но и болезнь опасна лишь в большинстве случаев. Что же касается отсутствия устойчивости, то указывать на последнее как на отличительный признак болезни — значит забывать о хронических болезнях и совершенно отделять тератологическое от патологического. Уродства устойчивы. 2) Говорят, что Нормальное и ненормальное различаются в

зависимости от расы, тогда как Различие между физиологическим и патологическим действительно для всего человеческого рода. Мы только что показали, что, наоборот, часто то, что является болезнью для дикаря, не является ею для цивилизованного человека. Условия физического здоровья изменяются вместе со средой.

II

Последнее соображение дает даже средство для осуществления контроля над результатами изложенного метода.

Так как распространенность, характеризующая с внешней стороны нормальные явления, сама есть явление объяснимое, то, как только она прямо установлена наблюдением, следует попытаться объяснить ее. Конечно, можно быть уверенным заранее, что она имеет причину, но важно знать точно, какова эта причина. Действительно, нормальный характер явления будет более очевиден, если будет доказано, что внешний признак, его обнаруживший, не только нагляден, но и обусловлен природой вещей,— если, одним словом, можно будет возвести эту фактическую нормальность в правовую. Такое доказательство, впрочем, не всегда будет заключаться в демонстрации полезности явления для организма, хотя это будет встречаться чаще всего по упомянутым выше причинам. Но может также случиться, как мы отмечали выше, что явление будет нормально, не служа ничему, нормально просто потому, что оно неизбежно вытекает из природы данного существа. Так, может быть, было бы полезно, чтобы роды не вызывали столь сильных расстройств в женском организме, но это невозможно. Следовательно, нормальность явления будет объясняться уже тем, что оно связано с условиями существования рассматриваемого вида: или как механическое, неизбежное следствие этих условий, или как средство, позволяющее организмам адаптироваться к ним⁵.

⁵ Можно, правда, спросить, не будет ли явление полезно потому уже, что оно неизбежно вытекает из общих условий жизни. Мы не можем заняться этим философским вопросом. Впрочем, мы коснемся его далее.

Такое доказательство полезно не только в качестве проверки. Не надо забывать, что отличать нормальное от ненормального важно главным образом для прояснения практики. А для того чтобы действовать со знанием дела, недостаточно знать, чего мы должны желать, но и почему мы должны желать этого. Научные положения относительно нормального состояния будут более непосредственно применимы к частным случаям, когда они будут сопровождаться указанием на их основания, потому что тогда легче будет узнать, в каких случаях и в каком направлении их нужно изменить при применении на практике.

Бывают даже обстоятельства, при которых указанная проверка совершенно необходима, так как применение только первого метода может ввести в заблуждение. Она необходима для переходных периодов, когда весь вид находится в процессе изменения, еще не установившись окончательно в новой форме. В этом случае единственный нормальный тип, уже воплотившийся и данный в фактах, есть тип прошлого, который, однако, уже не отвечает новым условиям существования. Таким образом, какой-нибудь факт может сохраняться на всем пространстве вида, уже не отвечая требованиям ситуации. Он обладает тогда лишь кажущейся нормальностью: всеобщее распространение его есть только обманчивый ярлык, потому что, поддерживаясь лишь слепой силой привычки, оно не является более признаком того, что наблюдаемое явление тесно связано с общими условиями коллективного существования. Эта трудность существует, впрочем, только для социологии, с ней не сталкивается биолог. Действительно, очень редко бывает, чтобы животные виды были вынуждены принимать неожиданные формы. Естественные нормальные изменения, переживаемые ими,— те, которые регулярно воспроизводятся у каждой особи, преимущественно под влиянием возраста. Они, следовательно, известны или могут быть известны, так как они уже реализовались в массе случаев; поэтому в

каждый момент развития животного и даже в периоды кризисов можно знать, в чем заключается нормальное состояние. Так же обстоит дело и в социологии с обществами, принадлежащими к низшим видам. Так как многие из них закончили уже круг своего развития, то закон их нормальной эволюции установлен или, по крайней мере, может быть установлен. Но когда дело касается наиболее развитых и поздних обществ, то этот закон не может быть известен, так как они не прошли еще своей истории. Социологу, таким образом, может быть затруднительным решить, нормально такое-то явление или нет, потому что у него нет никакого ориентира.

Он выйдет из затруднения, действуя так, как мы сказали. Установив посредством наблюдения, что факт распространен, он обратится к условиям, определившим это всеобщее распространение в прошлом, и затем исследует, существуют ли еще эти условия в настоящем или же, наоборот, они изменились. В первом случае он будет вправе считать явление нормальным, а во втором — нет. Например, для того чтобы узнать, нормально или нет современное экономическое состояние европейских народов с характерным для него отсутствием организации⁶, надо найти, что породило его в прошлом. Если эти условия те же, в которых находятся современные общества, то указанное положение нормально, несмотря на протесты, им вызываемые. Если же, наоборот, оно связано с той старой социальной структурой, которую мы назвали в другом месте сегментарной⁷ и которая вначале составляла основной каркас обществ, а затем постепенно исчезала, то нужно заключить, что теперь оно — явление болезненное, как бы распространено оно ни было. По этому же методу должны быть разрешены все спорные вопросы этого рода, такие, как, например, нормально или нет ослабление религиозных верований или развитие власти государства⁸.

⁶ См. об этом заметку, опубликованную нами в «Revue philosophique» (Nov. 1893) «La définition du socialisme».

⁷ Сегментарными обществами, и в частности сегментарными обществами с территориальной основой, мы называем такие, группировка основных элементов которых соответствует территориальным делениям. См.: *Division du travail social*, p. 189-210.

⁸ В некоторых случаях можно действовать несколько иначе и доказать, что факт, в нормальном характере которого сомневаются, заслуживает или не заслуживает этого сомнения, показав, что он тесно связан с предшествующим развитием рассматриваемого социального типа и даже с социальной эволюцией в целом, или же, наоборот, что он противоречит тому и другому. Таким способом мы смогли доказать, что теперешнее ослабление религиозных верований и, шире, коллективных чувств по поводу коллективных объектов вполне нормально. Мы доказали, что это ослабление становится все более и более явным, по мере того как общества приближаются к нашему современному типу, а последний, в свою очередь, более развит (см.: *Division du travail social*, p. 73—182). Но, в сущности, этот метод есть лишь частный случай предшествующего, потому что если нормальность этого явления могла быть установлена таким образом, то это значит в то же время, что оно было связано с самыми общими условиями нашего коллективного существования. Действительно, если этот регресс религиозного сознания становится тем более заметным, чем определеннее структура наших обществ, то это значит, что он связан не со случайной причиной, а с самим строением нашей социальной среды. А так как, с другой стороны, характерные особенности последней теперь, бесспорно, более развиты, чем прежде, то вполне нормально, что растут также и зависящие от нее явления. Этот метод отличается от предыдущего лишь тем, что условия, объясняющие и обосновывающие всеобщность явления, не наблюдаются прямо, а выводятся индуктивно. Известно, что оно связано с природой социальной среды, но неизвестно, в чем состоит эта связь и как она осуществляется.

Тем не менее этот метод ни в коем случае не может ни заменить предшествующий, ни применяться первым. Во-первых, он затрагивает вопросы, о которых нам придется говорить дальше и к которым можно приступить, лишь достаточно продвинувшись в науке; он заключает в себе, в общем, почти полное объяснение явлений, так как предполагает известными или их причины, или их функции. Однако за некоторыми исключениями, для того чтобы размежевать области физиологии и патологии, важно в самом начале исследования иметь возможность разделить факты на нормальные и ненормальные. Затем, для того чтобы считаться нормальным, факт должен быть признан полезным или необходимым по отношению к нормальному типу. Иначе можно было бы доказать, что болезнь совпадает со здоровьем, потому что она неизбежно вытекает из пораженного ею организма; лишь к среднему организму она стоит в ином отношении. Точно так же применение какого-нибудь лекарства, полезного для больного, могло бы считаться нормальным явлением, тогда как оно очевидно ненормально, поскольку полезно лишь в ненормальных обстоятельствах. Следовательно, этим методом можно пользоваться лишь при условии, что нормальный тип предварительно определен; определить же его можно лишь другим приемом. Наконец, если верно, что все нормальное полезно, раз оно необходимо, то неверно, что все полезное нормально. Мы можем быть уверены, что состояния, распространившиеся среди представителей данного вида, более полезны, чем состояния, оставшиеся исключениями; но мы не можем быть уверены в том, что они самые полезные из существующих или тех, которые могли бы существовать. У нас нет никаких оснований думать, что в нашем опыте были испытаны все возможные комбинации; среди комбинаций, никогда не реализованных, хотя и возможных, могут обнаружиться гораздо более полезные, чем те, которые нам известны. Понятие полезного шире понятия нормального; оно относится к последнему, как род к виду. Невозможно вывести большее из меньшего, род из вида, но вид можно найти в пределах рода, так как последний содержит его в себе. Поэтому, как только всеобщий характер явления установлен, можно, показав, в чем его полезность, подтвердить результаты первого метода. Итак, мы можем формулировать три следующих правила:

- 1) *Социальный факт нормален для определенного социального типа, рассматриваемого в определенной, фазе его развития, когда он имеет место в большинстве принадлежащих этому виду обществ, рассматриваемых в соответствующей фазе их эволюции.*
- 2) *Можно проверить результаты, применения предшествующего метода, показав, что распространенность явления зависит от общих условий коллективной жизни рассматриваемого социального типа.*

Но в таком случае, возразят нам, реализация нормального типа не самая возвышенная задача, которую можно поставить себе, и, чтобы пойти далее, надо превзойти науку. Нам не нужно обсуждать здесь этот вопрос *ex professo**3*; ответим только: 1) что он носит чисто теоретический характер, так как в действительности нормальный тип, состояние здоровья реализуются довольно трудно и достигаются достаточно редко для того, чтобы мы не напрягали своего воображения с целью найти что-нибудь лучшее; 2) что эти улучшения, объективно более полезные, не становятся от этого объективно желательными, так как, если они не отвечают никакому скрытому или явному стремлению, они не прибавят ничего к счастью; если же они отвечают какому-нибудь стремлению, то это значит, что нормальный тип еще не реализован; 3) наконец, для того чтобы улучшить нормальный тип, его нужно знать. Следовательно, превзойти науку можно, лишь опираясь на нее.

- 3) *Эта проверка необходима, когда факт относится к социальному виду, еще не завершившему процесса своего полного развития.*

III

В настоящее время мы настолько привыкли еще одним махом решать указанные трудные вопросы, настолько привыкли определять с помощью силлогизмов и поверхностных наблюдений, нормален или нет данный социальный факт, что описанную процедуру сочтут, быть может, излишне сложной. Кажется, что, для того чтобы отличить болезнь от здоровья, нет надобности в столь сложных приемах. Разве мы не различаем их ежедневно? Верно, но надо еще посмотреть, насколько удачно мы это делаем. Трудность решения этих проблем скрывается от нас тем обстоятельством, что, как мы видим, биолог решает их относительно легко. Но мы забываем, что ему гораздо легче, чем социологу, заметить, каким образом каждое явление затрагивает силу сопротивления организма, а отсюда определить его нормальный или ненормальный характер с точностью практически удовлетворительной. В социологии большая сложность и подвижность фактов обязывают и к большей осторожности, как это доказывают противоречивые суждения различных партий об одном и том же явлении. Для того чтобы наглядно продемонстрировать, насколько необходима эта осмотрительность, покажем на нескольких примерах, к каким ошибкам может привести ее недостаток и как в новом свете выступают перед нами самые существенные явления, когда их обсуждают методически.

Преступление есть факт, патологический характер которого считается неоспоримым. Все криминологи согласны в этом. Если они объясняют этот болезненный характер различным образом, то признают его единодушно. Между тем данная проблема требует менее поспешного рассмотрения.

Действительно, применим предшествующие правила. Преступление наблюдается не только в большинстве обществ того или иного вида, но во всех обществах всех типов. Нет такого общества, в котором не существовала бы преступность. Правда, она изменяет форму; действия, квалифицируемые как преступные, не везде одни и те же, но всегда и везде существовали люди, которые поступали таким образом, что навлекали на себя уголовное наказание. Если бы, по крайней мере, с переходом обществ от низших к более высоким типам процент преступности (т. е. отношение между годичной цифрой преступлений и цифрой народонаселения) снижался, то можно было бы думать, что, не переставая быть нормальным явлением, преступление все-таки стремится утратить этот характер. Но у нас нет никакого основания верить в существование подобного регресса. Многие факты указывают, по-видимому, скорее на движение в противоположном направлении. С начала столетия статистика дает нам возможность следить за движением преступности; последняя повсюду увеличилась. Во Франции увеличение достигает почти 300%. Нет, следовательно, явления с более несомненными симптомами нормальности, поскольку оно тесно связано с условиями всякой коллективной жизни. Делать из преступления социальную болезнь значило бы допускать, что болезнь не есть нечто случайное, а, наоборот, вытекает в некоторых случаях из основного устройства живого существа; это значило бы уничтожить всякое различие между физиологическим и патологическим. Конечно, может случиться, что сама преступность примет ненормальную форму; это имеет место, когда, например, она достигает чрезмерного роста. Действительно, не подлежит сомнению, что эта избыточность носит патологический характер. Существование преступности само по себе нормально, но лишь тогда, когда оно достигает, а не превосходит определенного для каждого социального типа уровня, который может быть, пожалуй, установлен при помощи предшествующих правил⁹.

⁹ Из того, что преступление есть явление нормальной социологии, не следует, чтобы преступник был индивидом, нормально организованным с биологической и психологической точек зрения. Оба вопроса не зависят друг от друга. Эта независимость станет понятней, когда мы рассмотрим ниже разницу между психическими и социологическими фактами.

Мы приходим к выводу, по-видимому, достаточно парадоксальному. Не следует обманывать себя; относить преступление к числу явлений нормальной социологии — значит не только признавать его явлением неизбежным, хотя и прискорбным, вызываемым неисправимой испорченностью людей; это значит одновременно утверждать, что оно есть фактор общественного здоровья, составная часть всякого здорового общества. Этот вывод на первый взгляд настолько удивителен, что он довольно долго смущал нас самих. Но, преодолев это первоначальное удивление, нетрудно найти причины, объясняющие и в то же время подтверждающие эту нормальность.

Прежде всего, преступление нормально, так как общество, лишенное его, было бы совершенно невозможно.

Преступление, как мы показали в другом месте, представляет собой действие, оскорбляющее известные коллективные чувства, наделенные особой энергией и отчетливостью. Для того чтобы в данном обществе перестали совершаться действия, признаваемые преступными, нужно было бы, чтобы оскорбляемые ими чувства встречались во всех индивидуальных сознаниях без исключения и с той степенью силы, какая необходима для того, чтобы сдерживать противоположные чувства. Предположим даже, что это условие могло бы быть выполнено, но преступление все-таки не исчезнет, а лишь изменит свою форму, потому что та же самая причина, которая осушила бы таким образом источники преступности, немедленно открыла бы новые.

Действительно, для того чтобы коллективные чувства, которые защищает уголовное право данного народа в данный момент его истории, проникли в сознания, до тех пор для них закрытые, или получили бы большую власть там, где до той поры у них ее было недостаточно, нужно, чтобы они приобрели большую интенсивность, чем та, которая у них была раньше. Нужно, чтобы для общества в целом эти чувства обрели большую энергию, так как из другого источника они не могут почерпнуть силу, необходимую для проникновения в индивидов, доколе к ним особенно невосприимчивых. Для того чтобы исчезли убийцы, нужно, чтобы увеличилось отвращение к пролитой крови в тех социальных слоях, из которых формируются ряды убийц, а для этого нужно, чтобы оно увеличилось во всем обществе. Притом само отсутствие преступления прямо способствовало бы достижению этого результата, так как чувство кажется гораздо более достойным уважения, когда его всегда и неизменно уважают. Но следует обратить внимание, что эти сильные состояния общего сознания не могут усилиться таким образом без того, чтобы не усилились одновременно и некоторые более слабые состояния, нарушение которых ранее вызывало лишь чисто нравственные проступки; потому что последние являются лишь продолжением, лишь смягченной формой первых. Так, воровство и просто нечестность оскорбляют одно и то же альтруистическое чувство — уважение к чужой собственности. Но одно из этих действий оскорбляет данное чувство слабее, чем другое, а так как, с другой стороны, это чувство в среднем в сознаниях не достигает такой интенсивности, чтобы живо ощущалось и более легкое из этих оскорблений, то к последнему относятся терпимее. Вот почему нечестного только порицают, тогда как вора наказывают. Но если это же чувство станет настолько сильным, что совершенно уничтожит склонность к воровству, то оно делается более чутким к обидам, до тех пор затрагивавшим его лишь слегка. Оно будет, стало быть, реагировать на них с большей живостью; эти нарушения подвергнутся более энергичному осуждению, и некоторые из них перейдут из списка простых нравственных проступков в разряд преступлений. Так, например, нечестные и нечестно выполненные договоры, влекущие за собой лишь общественное осуждение или гражданское взыскание, станут преступлениями. Представьте себе общество святых, идеальный, образцовый монастырь. Преступления в собственном смысле будут там неизвестны, но проступки, кажушиеся извинительными толпе, вызовут там то же негодование, какое вызывает обыкновенное преступление у обыкновенных людей. Если же у этого общества будет власть судить и карать, то оно сочтет эти действия преступными и будет обращаться с ними как с

такowymi. На том же основании человек совершенно честный судит свои малейшие нравственные слабости с той же строгостью, с какой толпа судит лишь действительно преступные действия. В былые времена насилие над личностью было более частым, чем теперь, потому что уважение к достоинству индивида было слабее. Так как это уважение выросло, то такие преступления стали более редкими, но в то же время многие действия, оскорблявшие это чувство, попали в уголовное право, к которому первоначально они не относились¹⁰.

¹⁰ Клевета, оскорбление, диффамация, мошенничество и т. д.

Чтобы исчерпать все логически возможные гипотезы, можно спросить себя, почему бы такому единодушию не распространиться на все коллективные чувства без исключения; почему бы даже наиболее слабым из них не сделаться достаточно энергичными для того, чтобы предупредить всякое инакомыслие. Нравственное сознание общества воспроизводилось бы у всех индивидов целиком с энергией, достаточной для того, чтобы помешать всякому оскорбляющему его действию, как преступлениям, так и чисто нравственным проступкам. Но такое абсолютное и универсальное однообразие совершенно невозможно, так как окружающая нас физическая среда, наследственные предрасположения, социальные влияния, от которых мы зависим, изменяются от одного индивида к другому и, следовательно, вносят разнообразие в нравственное сознание каждого. Невозможно, чтобы все походили друг на друга в такой степени, невозможно уже потому, что у каждого свой собственный организм, который занимает особое место в пространстве. Вот почему даже у низших народов, у которых индивидуальность развита очень мало, она все-таки существует. Следовательно, так как не может быть общества, в котором индивиды более или менее не отличались бы от коллективного типа, то некоторые из этих отличий неизбежно будут носить преступный характер. Этот характер сообщается им не внутренне присущим им значением, а тем значением, которое придает им общее сознание. Если, следовательно, последнее обладает значительной силой и властью, для того чтобы сделать эти отличия весьма слабыми в их абсолютной ценности, то оно будет также более чувствительным и требовательным; реагируя на малейшие отклонения с энергией, проявляемой им в других условиях лишь против более значительных расхождений, оно припишет им ту же важность, т. е. обозначит их как преступные.

Преступление, стало быть, необходимо, оно связано с основными условиями всякой социальной жизни и уже потому полезно, так как условия, с которыми оно связано, в свою очередь необходимы для нормальной эволюции морали и права.

Действительно, теперь невозможно оспаривать того, что право и нравственность изменяются не только от одного социального типа к другому, но и для одного и того же типа при изменении условий коллективного существования. Но, для того чтобы эти преобразования были возможны, необходимо, чтобы коллективные чувства, лежащие в основе нравственности, не сопротивлялись изменениям, т. е. обладали умеренной энергией. Если бы они были слишком сильны, они не были бы пластичны. Действительно, всякое устройство служит препятствием к переустройству, и тем сильнее, чем прочнее первоначальное устройство. Чем отчетливее проявляется известная структура, тем большее сопротивление оказывает она всякому изменению, что одинаково справедливо как для функционального, так и для анатомического строения. Если бы не было преступления, то данное условие не было бы реализовано, так как подобная гипотеза предполагает, что коллективные чувства достигли беспримерной в истории степени интенсивности. Все хорошо в меру и при известных условиях; нужно, чтобы авторитет нравственного сознания не был чрезмерен, иначе никто не осмелится поднять на него руку и оно очень легко застынет в неизменной форме. Для его развития необходимо, чтобы оригинальность индивидов могла пробиться наружу. Ведь для того, чтобы могла проявиться оригинальность идеалиста, мечтающего возвыситься над своим веком, нужно,

чтобы была возможна и оригинальность преступника, стоящая ниже своего времени. Одна не существует без другой.

Это еще не все. Случается, что кроме этой косвенной пользы преступление само играет полезную роль в этой эволюции. Оно не только требует, чтобы был открыт путь для необходимых изменений, но в известных случаях прямо подготавливает эти изменения. Там, где оно существует, коллективные чувства обладают необходимой для восприятия новых форм гибкостью, а, кроме того, преступление иной раз даже в какой-то мере предопределяет ту форму, которую они примут. Действительно, как часто оно является провозвестником будущей нравственности, продвижением к будущему! Согласно афинскому праву, Сократ был преступником, и его осуждение было вполне справедливым. Между тем его преступление, а именно самостоятельность его мысли, было полезно не только для человечества, но и для его родины. Оно служило подготовке новой нравственности и новой веры, в которых нуждались тогда Афины, потому что традиции, которыми они жили до тех пор, не отвечали более условиям их существования. Пример Сократа не единственный, он периодически повторяется в истории. Свобода мысли, которой мы теперь пользуемся, никогда не могла бы быть провозглашена, если бы запрещавшие ее правила не нарушались, прежде чем были торжественно отменены. Между тем в то время это нарушение было преступлением, так как оно оскорбляло еще очень энергичные чувства, свойственные большинству сознаний. И все-таки это преступление было полезно, поскольку оно служило прелюдией для преобразований, становившихся день ото дня все более необходимыми. Свободная философия имела своими предшественниками еретиков всякого рода, которые справедливо преследовались светской властью в течение всех средних веков и почти до нашего времени.

С этой точки зрения основные факты криминологии предстают перед нами в совершенно новом виде. Вопреки ходячим воззрениям, преступник вовсе не существо, отделенное от общества, вроде паразитического элемента, не чуждое и не поддающееся ассимиляции тело внутри общества¹¹; это регулярно действующий фактор социальной жизни.

¹¹ Мы сами ошибочно говорили-так о преступнике вследствие того, что не применили нашего правила. См.: *Division du travail social*, p. 395—396.

Преступность, со своей стороны, не Должна рассматриваться как зло, для которого не может быть слишком тесных границ; не только не нужно радоваться, когда она опускается ниже обыкновенного уровня, но можно быть уверенным, что этот кажущийся прогресс связан с каким-нибудь социальным расстройством. Так, число случаев нанесения телесных повреждений никогда не бывает столь незначительным, как во время голода¹². В то же время обновляется, или, скорее, должна обновиться теория наказания. Действительно, если преступление есть болезнь, то наказание является лекарством и не может рассматриваться иначе; поэтому все дискуссии вокруг него сводятся к вопросу о том, каким ему быть, чтобы выполнять функцию лекарства. Если же в преступлении нет ничего болезненного, то наказание не должно иметь целью исцелить от него, и его истинную функцию следует искать в другом.

Следовательно, было бы ошибочно считать, что вышеизложенные правила служат просто малополезному стремлению к соответствию логическим формальностям; наоборот, в результате их применения самые существенные социальные факты полностью изменяют свой характер. Хотя приведенный пример особенно нагляден, и потому мы сочли нужным остановиться на нем, существуют и многие другие примеры, которые бесполезно было бы привести. Нет общества, в котором не считалось бы за правило, что наказание должно быть пропорционально преступлению; между тем для итальянской школы этот принцип является лишь ни на чем не основанной выдумкой юристов¹³.

¹² Из того, что преступление есть факт нормальной социологии, не следует, что его не надо ненавидеть. В страдании тоже нет ничего желательного; индивид ненавидит его так же, как общество ненавидит, преступление; а между тем оно относится к нормальной

физиологии. Оно не только неизбежно вытекает из самой организации каждого живого существа, но и играет в жизни полезную роль, в которой его нельзя ничем заменить. Следовательно, представлять нашу мысль как апологию преступления значило бы в высшей степени исказить ее. Мы не подумали бы даже протестовать против такого толкования, если бы не знали, с какими недоразумениями и странными обвинениями сталкиваются, когда собираются объективно исследовать нравственные факты и говорить о них языком, несвойственным толпе.

¹³ *Carofalo. Criminologie, p. 299.*

Для этих криминологов институт уголовного права в целом, в том виде, как он функционировал до сих пор у всех известных народов, есть явление противоестественное. Мы уже видели, что для Гарофало преступность, свойственная низшим обществам, не содержит в себе ничего естественного. Для социалистов капиталистическая организация, несмотря на свою распространенность, составляет уклонение от нормального состояния, вызванное насилием и хитростью. Наоборот, для Спенсера наша административная централизация, расширение правительственной власти являются главным пороком наших обществ, хотя и то и другое прогрессирует самым регулярным и универсальным образом, по мере того как мы продвигаемся в истории. Мы не думаем, что когда-нибудь давали себе труд определить систематически нормальный или ненормальный характер социальных фактов по степени их распространения. Эти вопросы всегда смело решались с помощью диалектики.

Между тем если отказаться от указанного критерия, то мы не только подвергаемся отдельным заблуждениям и путанице, вроде только что приведенных, но сама наука становится невозможной. Действительно, ее непосредственным предметом является изучение нормального типа; если же самые распространенные факты могут быть патологическими, то может оказаться, что нормальный тип никогда и не проявлялся в фактах. Но зачем тогда изучать их? Они могут лишь подтверждать наши предрассудки и укреплять наши заблуждения, поскольку вытекают из них. Если наказание, если ответственность в том виде, как они существуют в истории, являются продуктом невежества и варварства, то зачем пытаться узнать их, чтобы определить их нормальные формы? Таким образом, разум вынужден отвернуться от безынтересной для него отныне реальности, углубиться в себя и в самом себе искать материалы, необходимые для ее реконструкции. Для того чтобы социология рассматривала факты как вещи, нужно, чтобы социолог чувствовал необходимость приняться за их изучение. А так как главным предметом всякой науки о жизни, будь она индивидуальной или социальной, является в общем определение нормального состояния, его объяснение и выявление отличия от состояния противоположного, то если нормальность не дана в самих вещах, если она является, наоборот, свойством, которое мы вносим извне в вещи или в котором мы им-почему-либо отказываем, то эта благотворная зависимость от фактов прервана. Разум чувствует себя-свободным перед лицом реальности, которая мало чему может научить его. Он не сдерживается более предметом, к которому прилагается, так как в известной мере он сам определяет этот предмет. Следовательно, различные правила, установленные нами до сих пор, тесно между собой связаны. Для того чтобы социология была действительно наукой о вещах, нужно, чтобы всеобщий характер явлений был принят за критерий их нормальности.

Наш метод, кроме того, имеет еще то преимущество, что регулирует одновременно действие и мысль. Если желательное не является объектом наблюдения, а может и должно быть определено своего рода умственным вычислением, то в поисках лучшего нет, так сказать, предела для свободной игры воображения, потому что как же установить для совершенствования такой предел, которого оно не могло бы превзойти? Оно ускользает от всякого ограничения. Цель человечества отодвигается, таким образом, в бесконечность, своей отдаленностью приводя в отчаяние одних и, наоборот, возбуждая и воспаляя

других, тех, кто, чтобы приблизиться к ней немного, ускоряет шаг и устремляется в революции. Этой практической дилеммы можно избежать, если знать, что желательное — это здоровье, а здоровье есть нечто определенное и данное в самих вещах, так как тогда предел усилий одновременно и дан и определен. Речь пойдет уже не о том, чтобы безнадежно преследовать цель, убегающую по мере приближения к ней, а о том, чтобы работать с неослабевающей настойчивостью над поддержанием нормального состояния, восстановлением его в случае его расстройств и обнаружением его условий, если они изменились! Долг государственного человека не в том, чтобы насильно толкать общества к идеалу, кажущемуся ему соблазнительным; его роль — это роль врача: он предупреждает возникновение болезней хорошей гигиеной, а когда они обнаружены, старается вылечить их.¹⁴

¹⁴ Из теории, изложенной в этой главе, иногда делали вывод, что с нашей точки зрения рост преступности на протяжении XIX в. — явление нормальное. Такое истолкование весьма далеко от нашей мысли. Многие факты, приводимые нами в связи с самоубийством (см.: *Le Suicide*, p. 420 и след.), наоборот, заставляют нас думать, что такой рост в целом явление патологическое. Тем не менее может быть так, что некоторый рост определенных форм преступности нормален, так как каждому состоянию цивилизации свойственна своя собственная преступность. Но по этому поводу можно предложить лишь гипотезы.

ГЛАВА IV ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОСТРОЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ТИПОВ

Так как данный социальный факт может считаться нормальным или ненормальным лишь по отношению к определенному социальному виду, то из всего сказанного следует, что известная ветвь социологии должна быть посвящена построению этих видов и их классификации.

Понятие о социальном виде имеет то огромное преимущество, что занимает среднее место между двумя противоположными представлениями о коллективной жизни, долгое время разделявшими мыслителей; я имею в виду номинализм историков¹ и крайний реализм философов.

¹ Я называю его так, потому что он часто встречается у историков, но я не хочу этим сказать, что он встречается у всех историков.

Для историков общества представляют собой равное их числу количество несравнимых гетерогенных индивидуальностей. У каждого народа своя физиономия, свое особое устройство, свое право, своя нравственность, своя экономическая организация, пригодные лишь для него; и всякое обобщение здесь почти невозможно. Для философа, наоборот, все эти отдельные группы, называемые племенами, городами, нациями, являются лишь случайными и временными комбинациями, не имеющими собственной реальности. Реально лишь человечество, и из общих свойств человеческой природы вытекает вся социальная эволюция. Следовательно, для первых история является лишь рядом связанных между собой, но неповторяющихся событий; для вторых эти же самые события представляют ценность и интерес лишь как иллюстрация общих законов, начертанных в природе человека и управляющих всем ходом исторического развития. Для одних то, что хорошо для одного общества, не может быть применено к другим. Условия состояния здоровья изменяются от одного народа к другому и не могут быть определены теоретически; это дело практики, опыта, действий наугад. Для других они могут быть вычислены раз навсегда и для всего человеческого рода. Казалось, что социальная реальность может быть только предметом или абстрактной и туманной философии, или чисто описательных монографий. Но можно избегнуть этой альтернативы, если признать, что между беспорядочным множеством исторических обществ и единственным, но

идеальным понятием о человечестве существуют посредники — социальные виды. Действительно, понятие вида примиряет научное требование единства с разнообразием, данным в фактах, потому что свойства вида всегда обнаруживаются у всех составляющих его индивидов, а, с другой стороны, виды различаются между собой. Верно, что нравственные, юридические, экономические и другие институты бесконечно изменчивы, но эти изменения не носят такого характера, чтобы исключать возможность научного исследования.

Лишь вследствие непризнания существования социальных видов Конт мог приравнивать прогресс человеческих обществ к прогрессу одного народа, «которому мысленно были бы приписаны все последовательные изменения, наблюдавшиеся у разных народов»².

² *Cours de philosophie positive*, IV, § 263.

Это было бы действительно так, если бы существовал лишь один социальный вид и отдельные общества отличались друг от друга лишь количественно, в соответствии с тем, насколько полно воплощают они в себе существенные признаки этого единого вида, насколько совершенно выражают они человечество. Если же, наоборот, существуют социальные типы, качественно отличающиеся друг от друга, то, как бы их ни сближали, их нельзя будет вполне слить воедино, как однородные деления одной геометрической прямой. Таким образом, историческое развитие теряет идеальное и упрощенное единство, которое ему приписывали; оно распадается, так сказать, на массу обломков, которые не могут прочно соединиться друг с другом, потому что существенно отличаются друг от друга. Знаменитая метафора Паскаля, повторенная Контом, оказывается теперь несостоятельной.

Но как же взяться за построение этих видов?

I

На первый взгляд может показаться, что нет другого способа, как изучить каждое общество отдельно, составить о нем как можно более полное и точное монографическое описание, сравнить затем все эти описания между собой, посмотреть, в чем они совпадают, в чем расходятся, и, наконец, в зависимости от относительной важности этих сходств и различий распределить народы по разным или одинаковым группам. Обосновывая этот метод, замечают, что только он пригоден для науки, основанной на наблюдении. Действительно, вид являет лишь совокупность индивидов; как же установить его иначе, как не начав с описания каждого из них в целом? Разве не существует правила восходить к общему после наблюдения частного во всей его полноте? На этом основании хотели отложить построение социологии до некой отдаленной эпохи, когда история в своем изучении отдельных обществ дойдет до результатов, достаточно объективных и определенных, чтобы можно было с пользой сравнивать их.

Но в действительности такая осторожность научна лишь с виду. Неверно, что наука может устанавливать законы, лишь обозрев все выражаемые ими факты, или образовать родовые категории, лишь описав во всей полноте их индивидуальных представителей. Подлинно экспериментальный метод стремится, скорее, заменить обыденные факты (имеющие доказательную силу лишь тогда, когда они весьма многочисленны, из-за чего основанные на них выводы всегда не очень достоверны) фактами решающими, или перекрестными, как говорил Бэкон³, имеющими научную ценность и интерес сами по себе, независимо от их количества.

³ *Novum Organum*, II, § 36.

Особенно важно действовать таким образом тогда, когда речь идет об установлении родов и видов, так как составить перечень всех присущих индивидам признаков — задача неразрешимая. Всякий индивид есть бесконечность, а бесконечность не может быть исчерпана. Может быть, следует обращаться только к наиболее существенным свойствам?

Но согласно какому принципу осуществлять отбор? Для этого нужен критерий, который бы выводил нас за пределы индивида и который даже самые лучшие монографические описания не смогут нам дать. Даже если не углубляться в проблему, можно предвидеть, что чем многочисленнее будут признаки, которые послужат основой классификации, тем труднее можно ожидать, что разнообразные способы их сочетаний в частных случаях дадут нам достаточно явные сходства и резкие различия, чтобы можно было установить определенные группы и подгруппы.

Но даже если бы подобным методом и возможно было бы создать классификацию, то ее огромным недостатком было бы то, что она не принесла бы той пользы, которая от нее ожидается. Действительно, она должна прежде всего сократить объем научной работы, заменяя бесчисленное множество индивидов ограниченным числом типов. Но она теряет это преимущество, если данные типы будут установлены только после того, как все индивиды будут рассмотрены и проанализированы. Она не сможет практически облегчить исследование, если будет лишь резюмировать уже проведенные исследования. Она будет действительно полезна, если позволит нам классифицировать другие признаки, нежели те, что лежат в ее основе, если она обеспечит нам ориентиры для последующих фактов. Ведь ее роль и состоит в том, чтобы дать нам в руки ориентиры, с которыми мы могли бы связывать другие наблюдения, отличные от тех, которые сами послужили ориентирами. Но для этого нужно, чтобы данная классификация была построена не согласно полному списку всех индивидуальных признаков, а на основе небольшого, тщательно отобранного их числа. В таком случае она будет способствовать не только упорядочению уже добытых знаний, но и росту этих знаний. Она избавит наблюдателя от многих хлопот, указывая ему дорогу. Если классификация будет построена на этом принципе, тогда, чтобы узнать, распространен ли факт в пределах данного вида, не будет необходимости наблюдать все общества, входящие в этот вид; некоторых из них будет достаточно. Во многих случаях даже будет достаточно одного хорошо проведенного наблюдения, подобно тому как часто одного хорошо проведенного эксперимента достаточно для установления закона.

Мы должны, стало быть, выбрать для нашей классификации наиболее существенные признаки. Правда, знать их можно лишь тогда, когда объяснение фактов продвинулось достаточно далеко. Эти две части научного познания тесно связаны между собой и способствуют развитию друг друга. Однако, еще и не погрузившись в глубокое изучение фактов, нетрудно предположить, с какой стороны следует искать характерные свойства социальных типов. В самом деле, мы знаем, что общества состоят из частей, присоединенных друг к другу. Поскольку природа всякой результирующей непременно зависит от природы числа составных элементов и способа их сочетания, то, очевидно, именно эти признаки и следует взять за основу. И мы действительно увидим далее, что именно от них зависят все общие факты социальной жизни. С другой стороны, поскольку эти признаки — морфологического порядка, то можно назвать *социальной морфологией* ту часть социологии, задача которой — построение и классификация социальных типов.

Можно даже еще больше уточнить принцип этой классификации. Известно в самом деле, что составные части, из которых образовано всякое общество, — это общества, более простые, чем оно. Народ образуется объединением двух или более народов, предшествующих ему. Стало быть, если мы узнаем самое простое из всех существовавших когда-либо обществ, тогда, чтобы построить нашу классификацию, нам останется лишь проследить способ, которым составлено это общество и которым его составляющие части соединяются между собой.

II

Спенсер прекрасно понял, что методически построенная классификация социальных типов не может иметь Другого основания.

«Мы видели, — говорит он, — что социальная эволюция начинается с малых простых агрегатов; что она прогрессирует посредством объединения некоторых из этих агрегатов в

большие агрегаты и что после их консолидации эти группы объединяются с другими, себе подобными, с тем чтобы образовать еще большие агрегаты. Следовательно, наша классификация должна начаться с обществ первого порядка, т. е. самых простых»⁴.

Чтобы применить этот принцип практически, нужно было бы начать с точного определения того, что понимается под простым обществом. К сожалению, Спенсер не только не дает этого определения, но считает его почти невозможным⁶. Дело в том, что простота в его понимании состоит главным образом в известной примитивности организации. Но нелегко точно сказать, в какой момент социальная организация достаточно рудиментарна, чтобы считаться простой; это предмет оценки. «Мы не можем сделать ничего лучше,— говорит он,— чем рассматривать в качестве простого общества то, которое образует целое, не подчиненное другому целому и части которого сотрудничают между собой с помощью или без помощи регулирующего центра для достижения некоторых целей, представляющих общественный интерес»⁶.

⁴ Sociologie, II, p. 135.

⁵ «Мы не всегда можем точно сказать, что составляет простое общество» (Ibid., p. 135, 136).

⁶ Ibid., p. 136.

Но существует множество народов, отвечающих этому условию. Отсюда следует, что он смешивает в одной рубрике все наименее цивилизованные общества. Можно представить себе, какой может быть при подобной отправной точке вся остальная часть классификации. Мы видим в ней в поразительной мешанине соединение самых разнородных обществ: греков гомеровской эпохи рядом с феодалами X в. и расположенных ниже бечуанов; зулусов и фиджийцев, афинскую конфедерацию — рядом с феодалами Франции XIII в. и расположенных ниже ирокезов и арауканов.

Слово "простота" имеет определенный смысл лишь тогда, когда оно обозначает полное отсутствие частей. Следовательно, под простым обществом нужно понимать всякое общество, которое не включает в себя другие, более простые, чем оно; которое не только в нынешнем состоянии сведено к единственному сегменту, но и не содержит никаких следов предшествующей сегментации. Орда в том виде, как мы ее определили ранее⁷, точно соответствует этому определению.

⁷ Division du travail social, p. 189.

Это социальный агрегат, не заключающий в себе и никогда не заключавший никакого другого более элементарного агрегата, но непосредственно разлагающийся на индивидов. Последние внутри целостной группы не образуют особые группы, отличные от предыдущей; они расположены рядом друг с другом, подобно атомам. Ясно, что не может быть более простого общества; это протоплазма социального мира и, следовательно, естественная основа всякой классификации.

Правда, возможно, не существует в истории общества, которое бы точно соответствовало этим приметам, но, как мы показали в уже упоминавшейся книге, мы знаем массу таких, которые прямо и без промежуточных звеньев образованы посредством повторения орд. Когда орда становится, таким образом, социальным сегментом, вместо того чтобы быть обществом в целом, она меняет имя, называясь кланом, но сохраняет те же основные черты. В действительности клан представляет собой агрегат, не разложимый ни на какой другой, более мелкий. Возможно, заметят, что обычно там, где мы его теперь наблюдаем, он включает в себя множество отдельных семей. Но прежде всего, исходя из соображений, которые мы не можем здесь развить, мы думаем, что эти малые семейные группы сформировались после клана. Кроме того, если говорить точно, они не составляют социальных сегментов, потому что не являются политическими подразделениями. Повсюду, где мы его встречаем, клан составляет последнее подразделение такого рода. Следовательно, даже если бы у нас не было других фактов, подтверждающих существова-

ние орды,— а они имеются, и когда-нибудь нам представится случай их предъявить — существование клана, т. е. обществ, образованных объединением орд, позволяет нам предположить, что вначале образовались простые общества, сводившиеся к орде в собственном смысле. Последнюю мы считаем источником, из которого произошли все социальные виды.

Понятие орды, или общества с единственным сегментом, независимо от того, считать его исторической реальностью или научным постулатом, является точкой опоры, необходимой для конструирования полной шкалы социальных типов. Мы сможем различать столько основных типов, сколько существует для орды способов образовывать комбинации с другими ордами, что порождает новые общества, и сколько существует способов комбинаций, образуемых этими обществами между собой. Мы столкнемся прежде всего с агрегатами, образованными простым повторением орд или кланов (если использовать их новое наименование), при котором кланы не объединены между собой и не образуют промежуточных групп между группой в целом, охватывающей их всех, и каждым из кланов. Они просто располагаются рядом, как индивиды в орде. Примеры этих обществ, которые можно назвать *простыми полисегментарными*, мы находим в некоторых ирокезских и австралийских племенах. *Арч*, или кабийское племя, носит тот же характер: это собрание кланов, застывших в форме деревень. Весьма вероятно, что было время в истории, когда римская *курия* и афинская *фратрия* представляли собой общества этого рода. Над ними располагаются общества, образованные соединением обществ предыдущего типа, т. е. *просто соединенные полисегментарные общества*. Таков характер ирокезской конфедерации, конфедерации кабийских племен; так же было первоначально и с каждым из трех первобытных племен, из объединения которых впоследствии родилось римское государство. Далее мы встретим *полисегментарные общества, соединенные двойным образом*. Они возникают из последовательного сочетания или слияния нескольких просто соединенных полисегментарных обществ. Таково античное государство, агрегат племен, которые сами являются агрегатами курий, которые, в свою очередь, разлагаются на *gentes*, или кланы. Таково и германское племя с его графствами, подразделяющимися на сотни, которые, в свою очередь, имеют в качестве единицы клан, ставший деревней.

Нам нет необходимости развивать далее эти замечания, поскольку здесь не может идти речь о создании классификации обществ. Это слишком сложная проблема, чтобы рассматривать ее мимоходом; напротив, она предполагает целый ряд специальных и длительных исследований. Мы хотели лишь посредством нескольких примеров уточнить понятия и показать, как должен применяться методологический принцип. Предыдущее не следует рассматривать как полную классификацию низших обществ. Здесь мы несколько упростили вещи для большей ясности. В самом деле, мы предположили, что каждый высший тип формировался повторением обществ одного и того же типа, а именно типа, расположенного непосредственно под ним. Но нет ничего невозможного в том, чтобы общества различных видов, расположенные на разной высоте генеалогического дерева социальных типов, объединялись, образуя новый вид. Мы знаем, по крайней мере, один такой случай: это Римская империя, включавшая в себя народы, самые разные по природе⁸.

⁸ Тем не менее, вероятно, вообще расстояние между обществами, являющимися составными частями, не может быть слишком большим; иначе между ними не сможет образоваться никакая моральная общность.

Но и когда эти типы будут построены, придется различать в каждом из них многочисленные разновидности согласно тому, сохраняют ли некоторую индивидуальность сегментарные общества, образующие общество более высокого типа, или же, наоборот, они растворяются в общей массе. Понятно, что социальные явления изменяются не только в зависимости от природы составных элементов, но и в зависимости от способа

их соединения; они должны быть весьма различны в соответствии с тем, сохраняет ли каждая из частных групп свой местный образ жизни, или же все они вовлечены в общую жизнь, т. е. в соответствии с большей или меньшей их концентрацией. Нужно будет, стало быть, исследовать, происходит ли в данный момент полное слияние этих сегментов. Его наличие можно будет узнать по тому признаку, что эта первоначальная организация общества не влияет больше на его административную и политическую организацию. С этой точки зрения античное государство явно отличается от германских племен. У последних организация на клановой основе сохранялась, хотя и в несколько размытом виде, вплоть до конца их истории, тогда как в Риме и в Афинах *gentes* и *γένη* очень рано перестали быть политическими подразделениями, превратившись в частные группировки. Внутри таким образом построенных ориентиров можно вводить новые деления согласно вторичным морфологическим признакам. Однако по причинам, отмеченным ниже, мы сомневаемся в возможности с пользой продолжать общие деления, которые только что были указаны. Более того, мы и не должны входить в эти детали. Нам достаточно выдвинуть принцип классификации, который может быть сформулирован так: *следует начинать с классификации обществ по степени сложности их состава, беря в качестве основы совершенно простое общество с единственным сегментом. Внутри этих классов необходимо выделять разновидности согласно тому, происходит или нет полное слияние исходных сегментов.*

III

Эти правила неявно отвечают на вопрос, который, возможно, возник у читателя: можем ли мы говорить о социальных видах как о существующих, не установив прямо их существование? Доказательство их существования содержится в самой основе только что изложенного метода.

В самом деле, мы видели, что общества суть лишь различные комбинации одного и того же исходного общества. Но один и тот же элемент не может сочетаться с самим собой, а образующиеся отсюда соединения, в свою очередь, могут сочетаться между собой только ограниченным числом способов, особенно когда составляющие элементы малочисленны (так обстоит дело с социальными сегментами). Стало быть, гамма возможных комбинаций ограничена, и большая их часть, по крайней мере, должна повторяться. Таким образом, оказывается, что социальные виды существуют. Впрочем, возможно, что некоторые из этих комбинаций возникают один-единственный раз. Это не мешает им, однако, быть видами. В подобного рода случаях мы скажем, что вид насчитывает только одного представителя⁹.

⁹ Не является ли ярким примером Римская империя, которая, по-видимому, не имеет аналогий в истории?

Социальные виды существуют по той же причине, по которой существуют виды в биологии. Последние в действительности возникают вследствие того, что организмы представляют собой лишь разнообразные комбинации одной и той же анатомической единицы. Тем не менее с этой точки зрения между социальным и биологическим мирами существует большая разница. У животных один особый фактор придает специфическим особенностям стойкость, которой не обладают другие особенности; это поколение. Первые, поскольку они являются общими для всех предков, гораздо сильнее укоренены в организме. Они, стало быть, нелегко поддаются воздействию индивидуальных сред и сохраняются тождественными самим себе, несмотря на разнообразие внешних обстоятельств. Существует внутренняя сила, закрепляющая их вопреки различным влияниям, идущим извне; это сила наследственных привычек. Вот почему они носят четко выраженный характер и могут быть точно определены. В социальном мире эта внутренняя причина у названных признаков отсутствует. Они не могут быть усилены поколением, потому что продолжительность их равна одному поколению. Как правило, общества

производные относятся не к тому виду, что общества производящие, так как последние, сочетаясь между собой, порождают совершенно новые устройства. Только колонизацию можно сравнить с рождением посредством прорастания зародыша; к тому же, чтобы употребление было точным, нужно, чтобы группа колонистов не смешивалась с каким-нибудь обществом другого вида или другой разновидности. Отличительные атрибуты вида, таким образом, не получают от наследственности прироста силы, который бы позволял им противостоять индивидуальным изменениям. Они изменяются и обретают новые оттенки до бесконечности под воздействием обстоятельств. Поэтому когда хотят их постигнуть, то, как только отбрасывают скрывающие их изменчивые признаки, часто обнаруживают довольно неопределенный остаток. Эта неопределенность, естественно, тем больше, чем больше сложность признаков, так как чем вещь сложнее, тем больше различных комбинаций могут образовать ее составные части. Отсюда следует, что специфический тип в социологии не обнаруживает столь же четких очертаний, как в биологии; его объединяют лишь самые общие и простые признаки¹⁰.

¹⁰ Работая над этой главой для первого издания настоящей книги, мы не упомянули о методе классификации обществ по состоянию их цивилизации. В то время еще не существовало классификаций такого рода, предложенных признанными социологами, за исключением, может быть, явно устаревшей классификации Конта. С тех пор было сделано несколько попыток в этом направлении, в частности Фиркандтом (*Die Kulturtypen der Menschheit*, in *Archiv. für Anthropologie*, 1898), Сазерлендом (*The Origin and Growth of the Moral Instinct*) и Штейнмецем (*Classification des types sociaux*, in *Année Sociologique*, III, p. 43—147). Тем не менее мы не будем здесь обсуждать их, так как они не относятся к проблеме, поставленной в этой главе. В них мы находим классификации не социальных видов, но, что совершенно другое дело, исторических фаз. Франция на протяжении своего исторического развития прошла через весьма различные формы цивилизации: вначале она была сельскохозяйственной страной, затем перешла к ремесленной промышленности и мелкой торговле, далее — к мануфактуре и, наконец, к крупной промышленности. Но невозможно при этом допустить, чтобы одна и та же коллективная индивидуальность могла сменить вид три-четыре раза. Вид должен определяться более постоянными признаками. Состояние экономики, технологии т. д.— явления слишком неустойчивые и сложные, чтобы составить основу классификации. Весьма вероятно, что одна и та же промышленная, научная или художественная цивилизация может встретиться в обществах, основное строение которых весьма различно. Япония сможет заимствовать наши искусство, промышленность, даже нашу политическую организацию; тем не менее она не перестанет принадлежать к иному социальному виду, нежели Франция и Германия. Добавим, что эти попытки, хотя и сделаны видными социологами, дали расплывчатые, спорные и малополезные результаты.

ГЛАВА V

ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБЪЯСНЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОВ

Установление видов — это прежде всего средство группировки фактов с целью облегчить их интерпретацию; социальная морфология есть путь к подлинно объясняющей части науки. Каков же метод этого объяснения?

I

Большинство социологов убеждены, что объяснили какие-то явления, как только показали, чему они служат, какую роль они играют. Рассуждают так, как если бы они существовали именно для этой роли и не имели бы другой определяющей причины, кроме ясного или смутного ощущения услуг, которые они призваны оказать. Вот почему считают, что сказано все необходимое для их понимания, когда установлена реальность этих услуг и показано, какую социальную потребность они удовлетворяют. Так, Конт сводит всю прогрессивную силу человеческого рода к тому основному стремлению, «ко-

торое прямо влечет человека к непрерывному и всестороннему улучшению всякого своего положения»¹, а Спенсер — к потребности большего счастья. Именно в силу влияния этого принципа он объясняет образование общества преимуществами, вытекающими из кооперации, установление правительства — пользой, приносимой регулированием военной кооперации², преобразования, испытанные семьей,— потребностью во все более полном примирении интересов родителей, детей и общества.

¹ Couis de philosophic positive, IV, p. 262.

² Sociologie, III, 336.

Но этот метод смешивает два весьма различных вопроса. Показать, для чего полезен факт, не значит объяснить, ни как он возник, ни как он стал тем, что он собой представляет. Применение, которое он себе находит, предполагает присущие ему специфические свойства, но не создает их. Потребность, испытываемая нами в вещах, не может сделать их такими-то и такими-то; она не может извлечь их из небытия и придать им реальное существование. Оно зависит от причин другого рода. Ощущение их полезности вполне может побудить нас привести в действие эти причины и получить вызываемые ими следствия, но не может породить эти следствия из ничего. Это утверждение представляется очевидным, пока речь идет о материальных или даже психологических явлениях. Оно бы не оспаривалось и в социологии, если бы социальные факты вследствие их особой нематериальности не казались нам ошибочно лишенными всякой внутренне присущей им реальности. Так как в них видят только чисто мыслительные комбинации, то кажется, что они должны возникать сами собой, как только появилось понятие о них или, по крайней мере, представление об их полезности. Но поскольку каждый из них есть сила, господствующая над нашей силой, поскольку он обладает своей собственной сущностью, то, для того чтобы придать ему бытие, недостаточно ни желания, ни воли.

Надо еще, чтобы были даны силы, способные породить эту определенную силу, и сущности, способные породить эту особую сущность. Только при этом условии он возможен. Чтобы оживить дух семьи там, где он ослаблен, недостаточно всеобщего понимания его преимуществ; нужно прямо заставить действовать причины, которые только и способны породить его. Чтобы придать правительству необходимый ему авторитет, недостаточно ощущать его потребность; нужно обратиться к единственным источникам всякого авторитета, т. е. установить традиции, дух общности и т. д. Для этого, в свою очередь, нужно подняться еще выше в цепи причин и следствий, пока не будет найдено место, где может результативно вмешаться деятельность человека.

Хорошо демонстрирует двойственность этих категорий исследований то, что факт может существовать, не служа ничему, либо вследствие того, что никогда не был приспособлен ни к какой жизненной цели, либо вследствие того, что, будучи некогда полезным, он утратил всякую полезность, продолжая существовать только в силу привычки. В действительности в обществе имеется еще больше пережитков, чем в организме. Бывают даже случаи, когда обычай или социальный институт изменяют функции, не меняя при этом свою сущность. Правило *is pater est quern justae nuptiae declarant**4* материально осталось в нашем кодексе тем же, чем оно было в древнем римском праве. Но в то время как тогда оно имело целью защиту права собственности отца на детей, рожденных законной женой, теперь оно защищает скорее права детей. Клятва вначале была чем-то вроде судебного испытания, а затем стала просто торжественной и величественной формой свидетельских показаний. Религиозные догматы христианства не изменялись на протяжении веков, но роль, которую они играют в наших современных обществах, уже не та, что в средние века. Таким же образом слова служат выражению новых понятий, хотя структура их может не меняться. Впрочем, утверждение, верное как для биологии, так и для социологии, состоит в том, что орган независим от функции, т. е., оставаясь тем же самым, он может служить различным целям. Таким образом, причины, создающие его, не зависят от целей, которым он служит.

Мы не хотим, впрочем, сказать, что стремления, потребности, желания людей никогда активно не вмешиваются в процесс социальной эволюции. Напротив, они несомненно могут ускорять или сдерживать развитие, в зависимости от того, как они соотносятся с условиями, от которых зависит факт. Но помимо того, что они никак не могут сделать нечто из ничего, их вмешательство само по себе, каковы бы ни были его последствия, может иметь место только благодаря действующим причинам. Действительно, даже в этой ограниченной степени стремление может участвовать в создании нового явления, только если оно само является новым, независимо от того, сформировалось оно из разнородных частей или вызвано каким-то изменением предшествующего стремления. В самом деле, если не постулировать истинно провиденциальную предустановленную гармонию, то невозможно допустить, чтобы с самого начала человек нес в себе в потенциальном состоянии, но совершенно готовые пробудиться по зову обстоятельств все стремления, уместность которых должна была постоянно ощущаться в ходе эволюции. Ведь стремление также есть вещь; оно не может, стало быть, ни создаваться, ни изменяться только потому, что мы считаем его полезным. Это сила, имеющая свою собственную природу; чтобы эта природа возникла или изменилась, недостаточно того, что мы найдем в ней некую пользу. Для таких изменений нужно, чтобы действовали причины, физически содержащие их в себе.

Например, мы объяснили постоянный прогресс разделения общественного труда, показав, что оно необходимо для того, чтобы человек мог поддерживать свое существование в новых условиях, в которых он оказался в ходе исторического развития. Таким образом, мы отвели стремлению, довольно неточно называемому инстинктом самосохранения, важную роль в нашем объяснении. Но одно это стремление не могло бы объяснить даже самую рудиментарную специализацию. Оно не может ничего, если условия, от которых зависит это явление, уже не реализованы, т. е. если индивидуальные различия достаточно не увеличились вследствие прогрессирующей неопределенности общего сознания и влияния наследственных различий³.

³ О разделении общественного труда. Кн. I, II, гл. III, IV.

Но разделение труда уже должно было начать существовать, чтобы его полезность была замечена, а потребность в нем — ощутима. И только развитие индивидуальных различий, заключая в себе большее разнообразие вкусов и склонностей, с необходимостью должно было произвести этот первый результат. Но, кроме того, инстинкт самосохранения не сам по себе и не без причины явился, чтобы оплодотворить этот первый зародыш специализации. Если он направился и направил нас на этот новый путь, то прежде всего потому, что путь, которым он следовал и заставлял следовать нас ранее, оказался как бы закрыт, поскольку более интенсивная борьба, вызванная большим уплотнением обществ, сделала все более трудным выживание индивидов, продолжавших посвящать себя общим занятиям. Таким образом, он вынужден *был* изменить направление. С другой стороны, если он обратился и обратил преимущественно нашу деятельность в направлении все большего и постоянного развития разделения труда, то потому также, что это был путь наименьшего сопротивления. Другими возможными путями были эмиграция, самоубийство, преступление. Но в среднем числе случаев наши связи со своей страной, с жизнью, симпатия, которую мы испытываем к себе подобным, — это чувства более сильные и устойчивые, чем привычки, противостоящие нашей более узкой специализации. Именно последние неизбежно должны были уступить постоянно растущему натиску. Таким образом, не отказываясь отвести человеческим потребностям определенное место в социологических объяснениях, мы в то же время даже частично не возвращаемся к финализму. Потребности могут оказывать влияние на социальную эволюцию только при условии, что они сами эволюционируют, а испытываемые ими изменения могут объясняться только такими причинами, в которых нет никакого целеполагания.

Но сама практическая область социальных фактов еще более убедительна, чем предыдущие соображения. Там, где царит финализм, царит также, более или менее повсеместно, случайность, так как не существует целей и тем более средств, которые с необходимостью навязываются всем людям, даже когда они предположительно находятся в одинаковых обстоятельствах. Находясь в одной и той же среде, каждый индивид согласно своему нраву адаптируется к ней своим способом, который он предпочитает любому другому. Один будет стремиться изменить ее, чтобы она гармонировала с его потребностями; другой предпочтет измениться сам и умерить свои желания, а сколько различных путей может вести, и действительно ведет, к одной и той же цели! Стало быть, если бы историческое развитие действительно осуществлялось для достижения ясно или смутно ощущаемых целей, социальные факты должны были бы представлять собой совершенно бесконечное разнообразие и всякое сравнение оказывалось бы почти невозможным. Но истинно обратное. Несомненно, внешние события, ткань которых составляет поверхностную часть социальной жизни, различны у разных народов. Но это подобно тому, как у каждого индивида существует своя история, хотя основы физической и моральной организации одинаковы у всех. В действительности, когда хоть немного соприкасаешься с социальными явлениями, наоборот, поражаешься удивительной регулярности, с которой они воспроизводятся в одинаковых обстоятельствах. Даже самые мелкие и с виду глупые обычаи повторяются с удивительным единообразием. Такая с виду чисто символическая брачная церемония, как похищение невесты, непременно встречается повсюду, где существует определенный тип семьи, связанный, в свою очередь, с целой политической организацией. Самые диковинные обычаи, такие, как кувада, левират, экзогамия и т. д., наблюдаются у самых разных народов и симптоматичны для определенного состояния общества. Право наследования появляется на определенном историческом этапе, и по более или менее значительным его ограничениям можно сказать, с каким моментом социальной эволюции мы имеем дело. Число примеров легко было бы умножить. Но этот всеобщий характер коллективных форм был бы необъясним, если бы цели, выдвигаемые в качестве причин, имели в социологии приписываемое им преобладающее значение.

Следовательно, в процессе объяснения социального явления нужно отдельно исследовать порождающую его реальную причину и выполняемую им функцию. Мы предпочитаем пользоваться словом «функция», а не «цель» или «намерение» именно потому, что социальные явления обычно не существуют для достижения полезных результатов, к которым они приводят. Нужно определить, имеется ли соответствие между рассматриваемым фактом и общими потребностями социального организма, в чем состоит это соответствие, не заботясь о том, чтобы узнать, преднамеренно оно возникло или нет. Все вопросы, связанные с намерениями, слишком субъективны, чтобы можно было рассматривать их научно.

Эти два разряда проблем не только следует развести, но в целом первый надлежит рассматривать до второго. Такой порядок соответствует действительному порядку фактов. Естественно искать причину явления до того, как пытаться определить его следствия. Этот метод тем более логичен, что решение первого вопроса часто может помочь в решении второго. Действительно, тесная связь, соединяющая причину и следствие, носит взаимный характер, который недостаточно осознан. Разумеется, следствие не может существовать без своей причины, но последняя, в свою очередь, нуждается в своем следствии. Именно в ней оно черпает свою энергию, но и возвращает ее при случае, а потому не может исчезнуть, чтобы это не отразилось на причине⁴. Например, социальная реакция, составляющая наказание, вызывается интенсивностью коллективных чувств, оскорбляемых преступлением. Но, с другой стороны, она выполняет полезную функцию поддержания этих чувств в той же степени интенсивности, так как они бы постоянно ослаблялись, если бы за перенесенные ими оскорбления не было наказания⁵. Точно так же, по мере того как социальная среда становится более сложной и подвижной, традиции,

сложившиеся верования расшатываются, принимают более неопределенную и гибкую форму, а мыслительные способности развиваются; но эти же способности необходимы обществам и индивидам для адаптации к более подвижной и сложной среде⁶. По мере того как люди обязуются трудиться более интенсивно, результаты этого труда становятся более значительными и лучшего качества; но эти же более обильные и лучшие результаты необходимы для возмещения затрат, вызываемых более интенсивным трудом⁷.

⁴ Мы не хотели бы касаться общих философских вопросов, которые были бы здесь неуместны. Заметим, однако, что лучшее изучение взаимосвязи причины и следствия могло бы создать средство примирения научного механизма с целеполаганием, которое заключает в себе существование и особенно сохранение жизни.

⁵ О разделении общественного труда. Кн. I; II, гл. II.

⁶ Там же.

⁷ Там же.

Таким образом, причина социальных явлений отнюдь не состоит в сознательном предвосхищении функции, которую они призваны выполнять; наоборот, эта функция состоит, по крайней мере во многих случаях, в поддержании ранее существовавшей причины, из которой они проистекают. Мы, стало быть, легче найдем первую, если вторая уже известна.

Но если к определению функции и не следует приступать вначале, то все же оно необходимо, чтобы объяснение явления было полным. В самом деле, хотя полезность факта не порождает его, он, как правило, должен быть полезным, чтобы иметь возможность сохраниться. Ведь достаточно того, что он ничему не служит, чтобы быть вредным уже этим, поскольку в таком случае он вызывает расходы, не принося никаких доходов. Если бы большая часть социальных явлений носила такой паразитарный характер, то бюджет организма испытывал бы дефицит и социальная жизнь была бы невозможна. Следовательно, чтобы дать о ней удовлетворительное представление, необходимо показать, как отражаемые в нем явления сотрудничают между собой, обеспечивая гармонию общества с самим собой и с внешним миром. Несомненно, ходячая формула, согласно которой жизнь есть соответствие между средой внутренней и средой внешней, лишь приблизительна. Однако в целом она верна, и, следовательно, чтобы объяснить факт витального порядка, недостаточно показать причину, от которой он зависит, но нужно еще, крайней мере в большинстве случаев, найти его долю в установлении общей гармонии.

II

Разделив указанные два вопроса, нужно определить метод, которым они должны решаться.

Метод объяснения, обычно применяемый социологами, является не только финалистским, но и психологическим. Эти две тенденции связаны между собой. В самом деле, если общество есть лишь система средств, установленная людьми для достижения определенных целей, то эти цели могут быть только индивидуальными, так как до общества могли существовать только индивиды. От индивида, стало быть, исходят идеи и потребности, определившие формирование общества, а если от него все идет, то им непременно все должно и объясняться. К тому же в обществе нет ничего, кроме отдельных сознаний; стало быть, именно в последних находится источник всей социальной эволюции. Вследствие этого социологические законы могут быть лишь королларием более общих законов психологии. Конечное объяснение коллективной жизни будет состоять в том, чтобы показать, как она вытекает из человеческой природы в целом, либо прямо и без предварительного наблюдения выводя ее из этой природы, либо связывая ее с ней же после наблюдения.

Приведенные выражения почти буквально совпадают с теми, которыми пользуется Огюст Конт для характеристики своего метода. «Поскольку, — говорит он, — социальное явление, рассматриваемое в целом, есть, в сущности, лишь простое развитие человечества, возникшее без всякого участия каких-нибудь способностей, таким образом, как я установил выше, все действительные склонности, которые социологическое наблюдение сможет последовательно обнаруживать, должны будут, следовательно, быть найдены, по крайней мере в зародыше, в том основном типе, который биология заранее построила для социологии»⁸. Дело в том, что, с его точки зрения, доминирующий факт социальной жизни — это прогресс; в то же время прогресс зависит от исключительно психологического фактора, а именно стремления, влекущего человека ко все большему развитию своей природы. Социальные факторы настолько непосредственно вытекают из человеческой природы, что применительно к первоначальным фазам истории их можно прямо выводить из нее, не прибегая к наблюдению⁹. Правда, по признанию Конта, невозможно применить этот дедуктивный метод к более прогрессивным периодам эволюции. Но невозможность эта — чисто практическая. Она связана с тем, что расстояние между пунктом отправления и пунктом прибытия становится слишком значительным, чтобы человеческий ум, взявшись преодолеть его без проводника, не рисковал бы заблудиться¹⁰.

⁸ Cours de philosophie positive, IV, p. 333.

⁹ Ibid., p. 345.

¹⁰ Ibid., p. 346.

Но связь между основными законами человеческой природы и конечными результатами прогресса не остается чисто аналитической. Самые сложные формы цивилизации происходят только от развитой психической жизни. Поэтому даже тогда, когда психологические теории недостаточны в качестве предпосылок социологического вывода, они являются единственным пробным камнем, позволяющим проверять обоснованность индуктивно установленных положений. «Любой закон социальной преэминентности, — говорит Конт, — определяемый даже самым авторитетным образом, посредством исторического метода, в конечном счете должен быть признан только после того, как он будет рационально увязан — прямо или косвенно, но всегда неоспоримо — с позитивной теорией человеческой природы»¹¹. Последнее слово, таким образом, по-прежнему останется за психологией.

Таков же и метод Спенсера. В самом деле, по его мнению, двумя первичными факторами социальных явлений являются космическая среда и физико-нравственная конституция индивида¹². Но первый фактор может влиять на общество лишь через посредство второго, который оказывается, таким образом, основным двигателем социальной эволюции. Общество возникает лишь для того, чтобы позволить индивиду реализовать свою природу, и все изменения, через которые оно прошло, не имеют другой цели, как сделать эту реализацию более легкой и полной. В силу этого принципа, прежде чем приняться за исследование социальной организации, Спенсер счел нужным посвятить почти весь первый том своих «Принципов социологии» изучению физической, эмоциональной и интеллектуальной сторон жизни первобытного человека. «Наука социология, — говорит он, — отправляется от социальных единиц, подчиненных рассмотренным нами физическим, эмоциональным и интеллектуальным условиям и находящимся во власти некоторых рано добытых идей и соответствующих им чувств»¹³. И в двух таких чувствах — в страхе перед живыми и в страхе перед мертвыми — он обнаруживает происхождение политической и религиозной власти¹⁴.

¹¹ Ibid., p. 335.

¹² Principes de sociologie, I, p. 14.

¹³ Ibid., p. 583.

¹⁴ Ibid., p. 582.

Правда, он допускает, что общество, когда оно уже сформировалось, воздействует на индивидов¹⁵. Но отсюда не следует, что он признает за обществом возможность произвести хотя бы самый незначительный социальный факт; с этой точки зрения оно может быть действенной причиной лишь через посредство изменений, вызываемых им у индивида. Следовательно, все всегда вытекает из свойств человеческой природы, исходных или производных. Кроме того, действие, оказываемое социальным организмом на своих членов, не может иметь в себе ничего специфического, потому что политические цели сами по себе ничто и являются лишь простым обобщенным выражением целей индивидуальных¹⁶.

¹⁵ Ibid., p. 18.

¹⁶ «Общество существует для выгоды своих членов, члены же не существуют для выгоды общества... права политического тела ничто сами по себе; они становятся чем-нибудь лишь тогда, когда воплощают права индивидов, его составляющих» (Ibid., II, p. 20).

Оно может быть, следовательно, лишь чем-то вроде возврата частной деятельности к самой себе. Особенно неясно, в чем оно может состоять в промышленных обществах, цель которых — как раз предоставить индивида самому себе и его естественным побуждениям, освобождая его от всякого социального принуждения.

Этот принцип лежит в основе не только больших доктрин, относящихся к общей социологии, но проникает также во многие частные теории. Так, семейную организацию обыкновенно объясняют чувствами родителей к детям и детей к родителям; институт брака — преимуществами, которые он предоставляет супругам и их потомству; наказание — гневом, вызываемым у индивида всяким серьезным нарушением его интересов. Вся экономическая жизнь так, как ее понимают и объясняют экономисты, особенно представители ортодоксальной школы, в конечном счете держится на чисто индивидуальном факторе, на желании богатства. А если речь идет о морали? Из обязанностей индивида по отношению к самому себе делают основу этики. Что касается религии, то в ней видят продукт впечатлений, производимых на человека великими силами природы или некоторыми выдающимися личностями, и т. д. и т. д.

Но такой метод не может быть применен к социологическим явлениям без искажения их. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к данному нами их определению. Так как их существенный признак заключается в способности оказывать извне давление на индивидуальные сознания, то, значит, они не вытекают из последних, и социология поэтому не есть королларий психологии. Эта принудительная сила свидетельствует, что они имеют природу, отличную от нашей, потому что проникают в нас, применяя силу или, по крайней мере, оказывая на нас более или менее чувствительное давление. Если бы социальная жизнь была лишь продолжением индивидуального бытия, то она не так возвращалась бы к своему источнику и не завладевала бы им столь бурно. Если власть, перед которой склоняется индивид, когда он действует, чувствует или мыслит социально, так господствует над ним, то это значит, что она — продукт сил, которые превосходят его и которые он не может объяснить. Это внешнее давление, испытываемое им, исходит не от него; следовательно, его невозможно объяснить тем, что происходит в нем. Правда, мы способны принудить себя сами; мы можем сдерживать свои стремления, привычки, даже инстинкты и остановить их развитие, наложив на них запрет. Но такие запреты не следует смешивать с движениями, составляющими социально принуждение. Первые центробежны, вторые центростремительны. Одни вырабатываются в индивидуальном сознании и стремятся затем выразиться вовне, другие же, наоборот, вначале находятся вне индивида, а затем извне стремятся сформировать его по своему образу. Если угодно, запрет есть то средство, которым социальное принуждение производит свои психические действия, но он не есть само это принуждение.

Если же оставить в стороне индивида, останется лишь общество; стало быть, объяснения социальной жизни нужно искать в природе самого общества. Действительно, поскольку оно бесконечно превосходит индивида как во времени, так и в пространстве, оно в состоянии навязать ему образы действий и мыслей, освященные его авторитетом. Это давление, являющееся отличительным признаком социальных фактов, есть давление всех на каждого.

Но могут сказать, что так как единственными элементами, из которых состоит общество, являются индивиды, то первоисточник социологических явлений может быть только психологическим. Рассуждая таким образом, можно так же легко доказать, что биологические явления аналитически объясняются явлениями неорганическими. Действительно, вполне достоверно, что в живой клетке имеются молекулы лишь неодушевленной материи. Только они в ней ассоциированы, и эта ассоциация и служит причиной новых явлений, характеризующих жизнь, явлений, даже зародыши которых невозможно найти ни в одном из ассоциированных элементов. Это потому, что целое не тождественно сумме своих частей, оно является чем-то иным и обладает свойствами, отличными от свойств составляющих его элементов. Ассоциация не есть, как думали прежде, явление само по себе бесплодное, лишь внешним образом связующее уже сложившиеся факты и свойства. Не является ли она, наоборот, источником всех новшеств, последовательно возникавших в ходе общей эволюции? Какое же различие, если не различие в ассоциации, существует между низшими организмами и остальными, между живым организмом и простой пластидой, между последней и неорганическими молекулами, ее составляющими? Все эти существа в конечном счете разлагаются на элементы одной и той же природы; но эти элементы в одном случае рядоположены, в другом — ассоциированы; в одном ассоциированы одним способом, в другом — другим. Мы вправе даже спросить себя: не проникает ли этот закон и в минеральное царство и не отсюда ли происходят различия неорганических тел?

В силу этого принципа общество — не простая сумма индивидов, но система, образованная их ассоциацией и представляющая собой реальность *sui generis*, наделенную своими особыми свойствами. Конечно, коллективная жизнь предполагает существование индивидуальных сознаний, но этого необходимого условия недостаточно. Нужно еще, чтобы эти сознания были ассоциированы, скомбинированы, причем скомбинированы определенным образом. Именно из этой комбинации проистекает социальная жизнь, а потому эта комбинация и объясняет ее. Сплачиваясь друг с другом, взаимно дополняя и проникая друг в друга, индивидуальные души дают начало новому существу, если угодно психическому, но представляющему психическую индивидуальность иного рода¹⁷.

¹⁷ Вот в каком смысле и по каким причинам можно и должно говорить о коллективном сознании, отличном от индивидуальных сознаний. Чтобы обосновать это различие, нет надобности гипостазировать первое; оно есть нечто особое и должно обозначаться специальным термином просто потому, что его состояния специфичны и отличаются от состояний, характерных для отдельных сознаний. Эта их специфичность возникает оттого, что они образованы не из тех же элементов. Одни в действительности возникают из природы психико-органического существа, взятого отдельно, другие — из комбинации множества существ этого рода. Результаты не могут, следовательно, не различаться, так как составные части столь различны. Впрочем, наше определение социального факта лишь иначе обозначает эту демаркационную линию.

Следовательно, в природе этой индивидуальности, а не в природе составляющих ее единиц нужно искать ближайшие и определяющие причины возникающих в ней фактов. Группа думает, чувствует, действует совершенно иначе, чем это сделали бы ее члены, если бы они были разъединены. Если же отталкиваться от последних, то невозможно понять ничего в том, что происходит в группе. Одним словом, между психологией и социологией то же различие, что и между биологией и науками физико-химическими.

Поэтому всякий раз, когда социальное явление прямо объясняется психическим явлением, можно быть уверенным, что объяснение ложно.

Быть может, нам возразят: если общество уже сложившееся и является действительно ближайшей причиной социальных явлений, то причины, приведшие к образованию этого общества, носят психологический характер. В данном случае согласны с тем, что, когда индивиды ассоциированы, их ассоциация может породить новую жизнь, но утверждают, что сама ассоциация может возникнуть лишь по причинам, коренящимся^x в индивиде.

Но в действительности, как бы далеко мы ни заглядывали в глубь истории, факт ассоциации окажется наиболее обязательным из всех, так как он источник всех других обязательств. Сразу после своего рождения я обязательно оказываюсь связанным с определенным народом. Говорят, что впоследствии, сделавшись взрослым, я даю согласие на это обязательство уже тем, что продолжаю жить в моей стране. Но какое это имеет значение? Данное согласие не лишает его повелительного характера. Принятое и охотно переносимое давление все-таки остается давлением. Впрочем, что может означать это согласие? Во-первых, оно вынужденно, так как в огромнейшем большинстве случаев нам материально и нравственно невозможно отделаться от нашей национальности; такая перемена обычно считается даже отступничеством. Затем, оно не может касаться прошлого, на которое мы не могли согласиться и которое, однако, определило настоящее; я не желал того воспитания, которое получил, оно же более всякой другой причины прикрепляет меня к родной почве. Наконец, это согласие не может иметь нравственной ценности для будущего в той мере, в какой последнее неизвестно. Я не знаю даже всех тех обязанностей, которые могут быть когда-нибудь возложены на меня как на гражданина; как же могу я заранее согласиться на них? Источник же всего обязательного, как мы это доказали, находится вне индивида. Таким образом, пока мы не выходим за пределы истории, факт ассоциации имеет тот же характер, что и остальные, и вследствие этого объясняется таким же образом. С другой стороны, так как все общества непосредственно и без перерывов произошли от других обществ, то можно быть уверенным, что в течение всей социальной эволюции не было ни одного момента, когда индивидам приходилось бы решать, вступить ли им в общество и в какое именно общество. Для того чтобы можно было поставить вопрос подобным образом, нужно было бы взойти к первичным истокам всякого общества. Но неизбежно сомнительные решения подобных проблем ни в каком случае не могут поколебать тот метод, которому нужно следовать при рассмотрении исторических фактов. Нам, следовательно, нет надобности останавливаться на них.

Но если бы из предыдущего вывели заключение, что социология, по нашему мнению, должна или может оставить в стороне человека и его способности, то это было бы глубоко ошибочным пониманием нашей мысли. Наоборот, ясно, что общие свойства человеческой природы участвуют в работе, в результате которой возникает социальная жизнь. Только не они порождают ее и не они придают ей ее особую форму; они лишь делают ее возможной. Исходными причинами коллективных представлений, эмоций, стремлений являются не состояния сознания индивидов, а условия, в которых находится социальное тело в целом. Конечно, они могут реализоваться лишь при условии, что индивидуальные свойства не противятся этому; но последние являются лишь бесформенным веществом, которое социальный фактор определяет и преобразует. Их вклад состоит исключительно в создании весьма общих состояний, расплывчатых и пластичных предрасположений, которые сами по себе, без помощи постороннего фактора, не могли бы принять определенных и сложных форм, присущих социальным явлениям.

Какая пропасть, например, существует между чувствами, испытываемыми человеком перед силами, более высокими, чем его собственная, и религиозным институтом с его верованиями, с его столь многочисленными и сложными обрядами, с его материальной и нравственной организацией; между психическими условиями симпатии, испытываемой двумя единокровными существами друг к другу¹⁸, и совокупностью юридических и

нравственных правил, определяющих структуру семьи, отношения людей между собой, с вещами и т. д.!

¹⁸ Настолько, что она существует до всякой социальной жизни. См.: *Espinas. Societes animales*, p. 474.

Мы видели, что, даже когда общество сводится к неорганизованной толпе, коллективные чувства, возникающие в ней, могут не только не походить, но и быть противоположными в среднем индивидуальным чувствам. Насколько же больше должно быть различие, когда индивид испытывает давление постоянно существующего общества, где к действию современников присоединяется действие предыдущих поколений и традиций! Чиста психологическое объяснение социальных фактов, следовательно, неизбежно упустит из виду все то, что в них есть специфического, т. е. социального.

Несостоятельность этого метода была скрыта от глаз стольких социологов потому, что, принимая следствие за причину, они очень часто считали определяющими условиями социальных явлений относительно определенные, специфические психические состояния, которые в действительности являются их следствием. Так, считали врожденными человеку некое религиозное чувство, некоторый минимум половой ревности, детской или родительской любви и т. д. и ими хотели объяснить религию, брак, семью. Но история показывает, что эти наклонности вовсе не неизменно присущи человеческой природе, но или совсем отсутствуют в известных социальных обстоятельствах, или так видоизменяются от одного общества к другому, что остаток, который получается по исключении всех этих различий и который один только и может рассматриваться как имеющий чисто психологическое происхождение, сводится к чему-то неопределенному и схематическому, оставляющему на огромном расстоянии факты, нуждающиеся в объяснении. Дело в том, что эти чувства вытекают из коллективной организации, а не служат ее основанием. Никким образом не доказано даже, что стремление к социальности изначально является прирожденным инстинктом человечества. Гораздо естественнее видеть в нем постепенно выработавшийся в нас продукт социальной жизни, так как установлено наблюдением, что животные склонны к социальности или нет в зависимости от того, вынуждаются ли они к ней условиями обитаемой ими местности. И нужно добавить, что даже между этими более определенными склонностями и социальной реальностью остается еще довольно значительное расстояние.

Существует, впрочем, средство почти совершенно изолировать психологический фактор, для того чтобы можно было уточнить пространство его действия; для этого надо выяснить, каким образом соотносится с социальной эволюцией раса. Действительно, этнические свойства принадлежат к разряду психоорганических. Следовательно, с их изменением должна изменяться и социальная жизнь, если только психологические явления оказывают на общество причинное воздействие, которое им приписывают. Но мы не знаем ни одного социального явления, которое бы находилось в безусловной зависимости от свойств расы. Конечно, мы не можем приписывать этому утверждению силу закона; но мы можем, по крайней мере, утверждать его как постоянный факт нашей практической жизни. Самые разнообразные формы организации встречаются в обществах одной и той же расы, и в то же время наблюдаются поразительные сходства между обществами разных рас. Гражданская община существовала у финикийцев так же, как у римлян и греков, и находится в процессе образования у кабиллов. Патриархальная семья была почти так же развита у евреев, как и у индусов, но она не встречается у славян, которые между тем принадлежат к арийской расе. Зато семейный тип, встречаемый у них, существует также и у арабов. Материнская семья и клан встречаются повсюду. Подробности судопроизводства, брачных обрядов одни и те же у народов, самых несходных с этнической точки зрения. Если это так, то, значит, вклад психического элемента носит слишком общий характер, для того чтобы предопределять ход социальных явлений. Так как он не содержит в себе определенную социальную форму, отличную от другой, значит, он не может объяснить ни

одной. Существует, правда, известная группа фактов, которые принято приписывать влиянию расы. Таким образом объясняют, в частности, почему развитие искусств и наук в Афинах было значительным и быстрым, а в Риме медленным и слабым. Но это классическое истолкование фактов никогда не было методически доказано. Весь его авторитет основан, по-видимому, только на традиции. Не было даже попытки выяснить возможность социологического объяснения, а мы убеждены, что последнее оказалось бы в данном случае успешным. В общем, когда так поспешно связывают художественный характер афинской цивилизации с прирожденными эс-ii тетическими дарованиями, то поступают примерно так! же, как в средние века, когда объясняли огонь флогистоном, а действие опиума — его снотворной силой.

Наконец, если предположить, что источник социальной эволюции действительно лежит в психической конституции человека, то непонятно, как могла бы возникнуть эта эволюция. Тогда пришлось бы допустить, что двигателем ее является какая-то пружина, таящаяся внутри человеческой природы. Но что это за пружина? Не тот ли род инстинкта, о котором говорит Конт и который побуждает человека все более реализовывать свою природу? Но признать это значило бы ответить вопросом на вопрос и объяснить прогресс врожденным стремлением к прогрессу, настоящей метафизической сущностью, ничем притом не доказанной, так как раз ные виды животных, даже наиболее развитые, не испытывают никакой потребности прогрессировать и даже среди человеческих обществ много таких, которым бесконечно долго нравится оставаться неподвижными. Или, как это думает Спенсер, такой пружиной является потребность наибольшего счастья, которая все полнее удовлетворяется более сложными формами цивилизации. Тогда следовало бы доказать, что счастье возрастает вместе с цивилизацией, а мы показали уже в другом месте все трудности, связанные с этой гипотезой¹⁹.

¹⁹ De la division du travail social, I, II, ch. 1.

Но более того, если даже принять один из этих постулатов, то историческое развитие не станет от этого понятнее, так как подобное объяснение было бы чисто финалистским, а мы указали уже выше, что социальные факты, как и все естественные явления, не объясняются, если показано, что они служат какой-то цели. Наглядно доказать, что все более совершенные социальные организации, преемственно сменявшие друг друга в истории, имели своим следствием все более полное удовлетворение тех или иных основных наших склонностей, отнюдь не значит объяснить, как они возникли. Тот факт, что они были полезны, ничего не говорит нам о том, что породило их. Если бы даже мы уяснили себе, каким образом мы дошли до представления о них, каким образом заранее составили себе как бы план того, как они окажут нам те услуги, на которые мы рассчитывали — а это трудная задача, — то все-таки те желания, объектом которых они тогда являлись бы, не были бы в силах вызвать их из небытия. Одним словом, Даже допуская, что они служат средствами, необходимыми для достижения намеченной цели, мы оставляем открытым вопрос: как, т. е. из чего и посредством чего, образовались эти средства?

Мы пришли, таким образом, к следующему правилу: *определяющую причину данного социального факта следует искать среди предшествующих социальных фактов, а не в состояниях индивидуального сознания.* С другой стороны, вполне ясно, что все предыдущее относится как к определению функции, так и к определению причины. Функция социального факта может быть только социальной, т. е. она заключается в создании социально полезных результатов. Конечно, может случиться, и действительно случается, что отраженным путем он служит также и индивиду. Но этот счастливый результат не есть его непосредственное основание. Мы можем, следовательно, дополнить предыдущее положение следующим образом: *функцию социального факта следует всегда искать в его отношении к какой-нибудь социальной цели.*

Вследствие того, что социологи часто не признавали это правило и рассматривали социальные явления с чисто психологической точки зрения, их теории кажутся многим

слишком туманными, шаткими и далекими от особой природы явлений, которые они хотят объяснить. Историк, особенно близко знакомый с социальной реальностью, не может остро не ощущать, насколько неспособны эти слишком общие толкования соединиться с фактами. Отсюда, несомненно, происходит отчасти то недоверие, которое история часто выказывала по отношению к социологии. Это, конечно, не значит, что изучение психических фактов не нужно социологу. Если коллективная жизнь и не вытекает из жизни индивидуальной, то все же они тесно между собою связаны. Если вторая и не может объяснить первую, то она может, по крайней мере, облегчить ее объяснение. Во-первых, как мы показали, бесспорно, что социальные факты являются результатами особой обработки фактов психических. Но, кроме того, сама эта обработка отчасти аналогична той, которая происходит во всяком индивидуальном сознании и постепенно все более преобразует составляющие его первичные элементы (ощущения, рефлексy, инстинкты). Не без основания можно было сказать о «я», что оно само есть общество, так же как и организм, хотя и иного рода, и давно уже психологи отметили всю важность фактора *ассоциации* для объяснения жизни духа. Знание психологии еще больше, чем знание биологии, составляет необходимую пропедевтику для социолога. Но оно будет полезно ему лишь в том случае, если он, овладев им, освободится от его влияния и выйдет за пределы данных психологии, дополняя их специфическим социологическим знанием. Нужно, чтобы он отказался делать из психологии в некотором роде центр своих операций, пункт, из которого должны исходить и к которому должны возвращаться его отдельные вторжения в мир социальных явлений. Нужно, чтобы он проник в сокровенную глубь социальных фактов, наблюдал их прямо и без посредников, обращаясь к науке об индивиде лишь за общей подготовкой, а в случае нужды и за полезными мыслями²⁰.

²⁰ Психические явления могут иметь социальные последствия лишь тогда, когда они так тесно связаны с социальными явлениями, что действия тех и других по необходимости сливаются. Такое явление имеет место в случаях некоторых социопсихических фактов. Так, чиновник есть социальная сила, но в то же время он и индивид. Отсюда следует, что он может воспользоваться той социальной энергией, которой обладает, в направлении, подсказываемом его индивидуальной природой, и таким образом может оказать влияние на состояние общества. Это случается с государственными людьми, и чаще всего с людьми гениальными. Последние, если даже они и не занимают общественной должности, получают от направленных на них коллективных чувств авторитет, который также является социальной силой и может быть в известной мере поставлен на службу личным идеям. Но эти факты обязаны своим происхождением индивидуальным случаям и потому не могут влиять на основные признаки социального вида, являющегося единственным объектом науки. Следовательно, это ограничение вышеизложенного принципа не имеет большого значения для социологии.

III

Поскольку факты социальной морфологии носят тот же характер, что и факты физиологические, то их следует объяснять согласно тому же правилу, которое мы сейчас сформулировали. Однако из предыдущего следует, что им принадлежит преобладающая роль в коллективной жизни, а следовательно, и в социологических объяснениях.

Действительно, если сам факт ассоциации, как мы это указывали выше, составляет определяющее условие социальных явлений, то последние должны изменяться вместе с формами этой ассоциации, т. е. согласно способам группировки составных частей общества. А так как, с другой стороны, определенное целое, образуемое от соединения разнородных элементов, входящих в состав общества, создает внутреннюю среду последнего, точно так же, как совокупность анатомических элементов, известным образом соединенных и размещенных в пространстве, составляет внутреннюю среду организмов,

то можно сказать: *исходное начало всякого, более или менее важного социального процесса следует искать в устройстве внутренней, социальной среды.*

Можно даже пойти еще далее. В действительности элементы, составляющие эту среду, двоякого рода: вещи и люди. В число вещей нужно включить помимо находящихся в обществе материальных объектов еще и продукты предшествующей социальной деятельности: действующее право, укоренившиеся нравы, художественные и литературные памятники и т. д. Очевидно, однако, что ни от той, ни от другой группы вещей не может исходить толчок к социальным преобразованиям; они не содержат в себе никакой движущей силы. Конечно, при объяснении этих преобразований их нужно принимать в расчет. Они действительно оказывают некоторое давление на социальную эволюцию; в зависимости от них изменяются ее быстрота и даже направление; но в них нет ничего, что могло бы привести ее в движение. Они представляют собой предмет приложения живых сил общества, но сами из себя не извлекают никакой живой силы. Следовательно, активным фактором остается собственно человеческая среда.

Поэтому главное усилие социолога должно быть направлено к тому, чтобы обнаружить различные свойства этой среды, способные оказать влияние на развитие социальных явлений. До сих пор мы нашли два ряда свойств, вполне отвечающих этому условию; это число социальных единиц, или, иначе говоря, объем общества и степень концентрации массы, или то, что мы назвали динамической плотностью. Под последним словом нужно понимать не чисто материальную сплоченность агрегата, которая не может иметь значения, если индивиды или, скорее, группы индивидов разделены нравственными пустотами, но нравственную сплоченность, для которой первая служит лишь вспомогательным средством, а довольно часто и следствием. Динамическая плотность при равном объеме общества может определяться числом индивидов, действительно находящихся не только в коммерческих, но и в нравственных отношениях, т. е. не только обменивающихся услугами или конкурирующих друг с другом, но и живущих совместной жизнью. Так как при чисто экономических отношениях люди остаются чуждыми друг другу, то можно долгое время поддерживать отношения этого рода, не участвуя в коллективной жизни. Сношения, завязывающиеся через границы, разделяющие народы, не уничтожают эти границы. Совместная же жизнь может зависеть лишь от числа тех, кто действительно в ней сотрудничает. Вот почему степень слияния социальных сегментов лучше всего выражает динамическую плотность народа. Если каждый частичный агрегат образует единое целое, особую, отличную от других индивидуальность, то это значит, что деятельность его членов обыкновенно локализована в пределах агрегата; если же, наоборот, эти частичные общества слились или стремятся слиться в единое целостное общество, значит, в той же мере расширилась сфера социальной жизни.

Что же касается материальной плотности, если под ней разуметь не только число жителей на единицу площади, но и развитие путей сообщения и связи, то она развивается обыкновенно параллельно динамической плотности и *в общем* может служить масштабом для измерения последней. Ведь если различные части народонаселения стремятся сблизиться, то они неизбежно должны прокладывать себе пути для этого сближения; с другой стороны, между отдаленными пунктами социальной массы могут установиться отношения лишь тогда, когда разделяющее их расстояние не является препятствием, т. е. когда оно реально ликвидируется. Впрочем, существуют исключения²¹, и мы допускали серьезные ошибки, если бы всегда судили о нравственной концентрации общества по степени его материальной концентрации.

²¹ В работе «О разделении общественного труда» мы ошибочно представили материальную плотность как точное выражение динамической плотности. Тем не менее замена первой второю, безусловно, правильна для всего, что относится к экономическим следствиям динамической плотности, например для чисто экономических сторон разделения труда.

Дороги, железные дороги и прочее могут скорее служить деловым отношениям, чем объединению народов, которое они выражают тогда весьма несовершенно. Так, в Англии, где материальная плотность выше, чем во Франции, срастание сегментов гораздо менее продвинулось вперед, что доказывается стойкостью местной и областной жизни.

Мы показали уже в другом месте, как всякое увеличение в объеме и динамической плотности обществ, делая социальную жизнь более интенсивной, расширяя умственный горизонт и сферу деятельности индивидов, глубоко изменяет основные условия коллективного существования. Нам нет надобности возвращаться к осуществленному тогда применению этого принципа. Добавим только, что он помог нам исследовать не только общий вопрос, составлявший предмет нашего изучения, но и многие другие, более частные проблемы; таким образом, правильность его проверена нами уже солидным количеством опытов. Однако мы далеки от мысли, что нашли все особенности социальной среды, имеющие значение при объяснении социальных фактов. Мы можем сказать только, что это единственные замеченные нами и что мы не обнаружили других.

Однако то преобладающее значение, которое мы приписываем социальной среде, и особенно среде человеческой, не значит, что в ней нужно видеть последний и абсолютный факт и дальше идти незачем. Очевидно, напротив, что состояние ее в каждый исторический момент само зависит от социальных причин; некоторые из этих причин внутренне присущи самому обществу, а другие зависят от взаимодействия этого общества с другими. Кроме того, наука не знает первопричин в абсолютном значении этого слова. Для нее первичен просто тот факт, который является достаточно общим, чтобы объяснить значительное число других фактов. А социальная среда несомненно есть фактор такого рода, так как происходящие в ней изменения, каковы бы ни были их причины, отражаются во всех направлениях в социальном организме и не могут так или иначе не затронуть всех его функций.

Сказанное нами об общей среде общества вполне применимо и к частной среде всякой отдельной группы, заключающейся в обществе. Так, например, в зависимости от большей или меньшей многочисленности и замкнутости семьи резко изменяется характер домашней жизни. Точно так же, если бы профессиональные корпорации изменились таким образом, что каждая из них распространилась бы по всей территории, вместо того чтобы оставаться, как прежде, заключенной в пределах одной общины, то очень изменилась бы и их деятельность. Вообще говоря, профессиональная жизнь будет совершенно различной в соответствии с тем, будет ли среда, свойственная каждой профессии, организована прочно или же слабо, как теперь. Тем не менее воздействие этих частных сред не может быть так же важно, как воздействие общей среды, так как первые подвержены влиянию последней. Именно к ней приходится всегда возвращаться в процессе объяснения. Ее давление на частные группы и обуславливает изменения в их устройстве.

Эта концепция социальной среды как определяющего фактора коллективной эволюции в высшей степени важна, так как, если ее отбросить, социология не сможет установить никакой причинной связи.

Действительно, без этого разряда причин нет сопутствующих условий, от которых могли бы зависеть социальные явления, так как если внешняя социальная среда, т. е. среда, образованная окружающими-обществами, и способна иметь какое-нибудь влияние, то лишь на оборонительные и наступательные действия общества. И кроме того, она может обнаружить свое влияние только через посредство внутренней социальной среды. Стало быть, основные причины исторического развития находились бы не среди текущих событий, а лежали бы всецело в прошлом. Они сами были бы частями этого развития, просто составляя более древние его фазы. Современные события социальной жизни вытекали бы не из современного состояния общества, но из событий предшествующих, из исторического прошлого, а социологические объяснения сводились бы исключительно к установлению связи между прошлым и настоящим.

Правда, может показаться, что этого достаточно. Не говорят ли обыкновенно, что цель истории состоит именно в том, чтобы связать события в порядке их следования? Непонятно, однако, каким образом данная ступень цивилизации может служить определяющей причиной следующей за ней ступени. Этапы, которые последовательно проходит человечество, не возникают одни из других. Понятно, что прогресс, достигнутый в определенную эпоху в юридическом, экономическом, политическом строе и т. д., делает возможным дальнейший прогресс, но в чем же он его предопределяет? Он служит точкой отправления, позволяющей нам идти дальше, но что же побуждает нас идти дальше? Здесь нужно было бы допустить внутреннее стремление, толкающее человечество идти все дальше и дальше или для того, чтобы полностью реализовать себя, или для того, чтобы увеличить свое счастье, и тогда задачей социологии было бы обнаружение порядка развития этого стремления. Но даже оставляя в стороне все трудности, связанные с этой гипотезой, во всяком случае, надо признать, что закон, выражающий это развитие, не содержал бы в себе никакой причинной связи. Действительно, последняя может быть установлена только между двумя данными фактами, а указанное стремление, признаваемое причиной развития, не дано; оно лишь постулируется и конструируется умозрительно из тех следствий, которые ему приписывают. Это — род двигательной способности, которую мы представляем себе как бы лежащей в основе движения; однако действительной причиной какого-нибудь движения может быть лишь другое движение, а не возможность подобного рода.

Следовательно, мы бы экспериментально обнаружили лишь ряд изменений, между которыми нет никакой причинной связи. Предшествующее состояние не производит последующее, отношение между ними исключительно хронологическое. Поэтому в таких условиях никакое научное предсказание невозможно. Мы можем сказать, как явления следовали друг за другом до сих пор, но не можем знать, как они будут следовать друг за другом в будущем, потому что причина, от которой они признаются зависящими, научно не определена и не определима таким образом. Правда, обыкновенно допускают, что эволюция будет продолжаться в том же направлении, в каком она шла раньше, но это простое предположение. Ничто не убеждает нас, что реализованные факты достаточно полно выражают характер указанной тенденции для того, чтобы можно было предсказать тот предел, к которому она стремится, по пройденным ею стадиям развития. Почему вообще направление, в котором она развивается и на которое она влияет, должно быть прямолинейным?

Вот почему в действительности число причинных отношений, установленных социологами, так незначительно. За немногими исключениями, наиболее блестящим примером которых является Монтескье, прежняя философия истории старалась только открыть общее направление, в котором движется человечество, не пытаясь связать фазы этой эволюции с каким-нибудь сопутствующим условием. Как ни велики услуги, оказанные Контом социальной философии, пределы, в которые он заключает социологическую проблематику, не отличаются от предыдущих. Поэтому его знаменитый закон трех стадий*5* не выражает никакой причинной связи; даже если он верен, он все же является и может быть лишь эмпирическим. Это обобщенный, беглый взгляд на прошедшую историю человечества. Совершенно произвольно Конт считает третью стадию конечным состоянием человечества. Откуда мы знаем, что в будущем не возникнет нового состояния? Наконец, закон, господствующий в социологии Спенсера, по-видимому, носит тот же характер. Даже если верно, что теперь мы склонны искать счастья в промышленной Цивилизации, то ничто не убеждает нас в том, что в будущем мы не будем искать его в чем-нибудь другом. Распространенность и устойчивость рассматриваемого метода объясняются тем, что в социальной среде чаще всего видели средство реализации прогресса, а не определяющую его причину.

С другой стороны, отношением к этой же среде должна измеряться также полезность, или, как мы сказали, функция социальных явлений. Среди изменений, причиной которых она

является, полезны лишь те, которые отвечают ее состоянию, так как она является необходимым условием коллективного существования. С этой точки зрения только что изложенный взгляд является, думается нам, решающим, потому что только он объясняет, каким образом полезный характер социальных явлений может изменяться, не находясь в то же время в зависимости от произвольных действий.

Конечно, если представлять себе социальную эволюцию движимой известного рода *vis a tergo**6*, толкающей людей вперед, то, поскольку это движущее стремление может иметь лишь одну-единственную цель, возможен лишь один масштаб для определения полезности или вредности социальных явлений. Отсюда следует, что существует и может существовать лишь один тип социальной организации, вполне пригодный для человечества, и что различные исторические общества являются лишь последовательными приближениями к этому единому образцу. Нет надобности доказывать, насколько подобное упрощение несовместимо с признанными теперь разнообразием и сложностью социальных форм.

Если, наоборот, пригодность или непригодность институтов может устанавливаться только по отношению к данной среде, то, поскольку эти среды различны, существуют различные масштабы для оценки и, следовательно, типы, качественно вполне отличные друг от друга, могут одинаково базироваться на природе социальных сред.

Вопрос, который мы сейчас рассматривали, тесно связан, стало быть, с вопросом о построении социальных типов. Если существуют социальные виды, то это значит, что коллективная жизнь зависит прежде всего от сопутствующих условий, представляющих известное разнообразие. Если бы, наоборот, главные причины социальных явлений были все в прошлом, то каждый народ был бы лишь продолжением народа предшествующего, разные общества потеряли бы свою индивидуальность и стали бы лишь различными моментами одного и того же развития. С другой стороны, так как организация социальной среды настолько зависит от способа образования социальных агрегатов, что оба эти выражения, в сущности, даже синонимы, то у нас есть теперь доказательство того, что нет признаков более существенных, чем указанные нами в качестве основания социологической классификации.

Наконец, теперь более, чем прежде, ясно, насколько несправедливо было бы, основываясь на словах «внешние условия» и «среда», обвинять наш метод в том, что он ищет источники жизни вне живого. Совсем наоборот, все только что приведенные соображения сводятся к идее, что причины социальных явлений находятся внутри общества.

В стремлении объяснять внутреннее внешним можно было бы скорее упрекнуть ту теорию, которая выводит общество из индивида, потому что она объясняет социальное бытие чем-то отличным от него, пытается вывести целое из части. Изложенные принципы настолько далеки от непризнания самопроизвольного характера живой целостности, что если применить их к биологии и психологии, то придется признать, что индивидуальная жизнь также вырабатывается всецело внутри индивида.

IV

Из ряда только что установленных правил вытекает определенное представление об обществе и коллективной жизни.

В данных вопросах господствуют две противоположные теории.

Для одних, например для Гоббса и Руссо, между индивидом и обществом существует некоторый антагонизм. По их мнению, человек по природе своей не склонен к общественной жизни и может быть подчинен ей только силой. Общественные цели не только не совпадают с индивидуальными, но скорее противоположны им. Поэтому, чтобы заставить индивида преследовать их, необходимо оказывать на него принуждение, и в учреждении и организации этого принуждения и заключается преимущественно деятельность общества. Только потому, что индивид рассматривается как единственная реальность человеческого царства, эта организация, имеющая целью обуздать и покорить

его, может представляться искусственной. Она не заложена в природе, потому что назначение ее — насиловать эту природу, мешая ей производить свои антисоциальные следствия. Это — искусственное творение, машина, целиком построенная руками человеческими. И, как всякое дело рук человеческих, она есть то, что она есть, лишь потому, что люди этого пожелали. Предписание воли создало ее, и новое предписание этой же воли может преобразовать ее. Ни Гоббс, ни Руссо не заметили, по-видимому, явного противоречия, заключающегося в признании индивида творцом машины, главная роль которой состоит в том, чтобы властвовать над ним и принуждать его. По крайней мере им казалось, что, для того чтобы уничтожить это противоречие, достаточно скрыть его от глаз его жертв искусной уловкой социального договора.

Теоретики естественного права, экономисты, а позднее Спенсер²² вдохновлялись противоположной идеей.

²² Позиция Конта в этом вопросе отличается неопределенностью и эклектизмом.

Для них социальная жизнь, по существу, самопроизвольна и общество есть нечто естественное. Но хотя они и приписывают ему этот характер, однако не признают его специфической природы; основание его они находят в природе индивида. Как и предыдущие мыслители, они не видят в нем систему явлений, существующую самостоятельно, в силу своих особых причин. Но, в то время как первые смотрели на него лишь как на договорное соединение людей, не представляющее особой самобытной реальности и висящее, так сказать, в воздухе, последние основывают его на основных стремлениях человеческого сердца. Человек естественно склонен к политической, семейной, религиозной жизни, к обмену и т. д., и из этих-то естественных склонностей и вытекает социальная организация. Следовательно, всюду, где она нормальна, она не имеет нужды быть принудительной. Если она прибегает к принуждению, то это значит или что она не то, чем должна быть, или что обстоятельства ненормальны. В принципе нужно лишь дать индивидуальным силам свободно развиваться, чтобы они организовались в общества.

Наша теория отличается от обеих доктрин.

Несомненно, мы считаем принуждение характерным признаком всякого социального факта. Но это принуждение исходит не из более или менее искусного устройства, призванного скрывать от людей те западни, в которые они сами себя поймали. Оно обязано своим возникновением тому, что индивид оказывается в присутствии силы, перед которой он преклоняется, которая над ним господствует, но эта сила естественна. Это принуждение вытекает не из договорного устройства, возникшего по воле человека, а из сокровенных недр реальности, являясь необходимым продуктом данных причин. Поэтому, для того чтобы склонить индивида добровольно подчиниться ему, не нужно прибегать ни к каким ухищрениям; достаточно, чтобы он осознал свою естественную зависимость и слабость, чтобы он составил себе о них символическое и чувственное представление с помощью религии или определенное и адекватное понятие с помощью науки. Поскольку превосходство общества над индивидом не только физическое, но и интеллектуальное и нравственное, то ему нечего бояться свободного исследования, если только последнее используется правильно. Разум, показывая человеку, насколько социальное бытие богаче, сложнее, устойчивее бытия индивидуального, может лишь открыть ему ясные основания для требуемого от него повиновения и для чувств привязанности и уважения, которые привычка запечатлела в его сердце²³.

²³ Вот почему не всякое принуждение нормально. Этой характеристики заслуживает лишь принуждение, соответствующее какому-то социальному превосходству, т. е. интеллектуальному или моральному. Но принуждение, оказываемое одним индивидом в отношении другого, пользуясь тем, что он сильнее или богаче, особенно если это богатство не выражает его социальную ценность, ненормально и может поддерживаться только путем насилия.

Поэтому лишь очень поверхностная критика могла бы упрекнуть нашу концепцию социального принуждения в том, что она повторяет теорию Гоббса и Макиавелли. Но если в противоположность этим философам мы утверждаем, что социальная жизнь естественна, то это не значит, что мы находим источник ее в природе индивида. Это значит только, что она прямо вытекает из коллективного бытия, которое само по себе является реальностью *sui generis*. Это значит, что она возникает из той специальной обработки, которой подвергаются индивидуальные сознания вследствие их ассоциации и из которой берет свое начало новая форма существования²⁴. Следовательно, если мы и согласимся с одними в том, что она представляется индивиду в виде принуждения, то признаем вместе с другими, что она есть самопроизвольный продукт реальности. Эти два элемента, на первый взгляд противоречащие друг другу, логически объединяются тем, что производящая ее реальность превосходит индивида. Это значит, что в нашей терминологии слова «принуждение» и «самопроизвольность» не имеют того смысла, какой Гоббс придает первому, а Спенсер второму.

²⁴ Наша теория расходится с теорией Гоббса даже более, чем теория естественного права. Действительно, для сторонников последней доктрины коллективная жизнь естественна лишь в той мере, в какой она может быть выведена из индивидуальной природы. Однако лишь наиболее общие формы социальной организации могут быть выведены из этого источника. Что же касается подробностей, то последние слишком удалены от чрезвычайной общности психических свойств, чтобы обуславливаться ими; они кажутся поэтому последователям этой школы столь же искусственными, как и их противникам. Для нас же, наоборот, все естественно, даже наиболее второстепенные подробности организации, потому что все основано на природе общества.

В целом большинство попыток рационально объяснить социальные факты можно упрекнуть в том, что они или отвергают всякую мысль о социальной дисциплине, или считают возможным поддержание этой дисциплины только с помощью обмана и уловок. Изложенные правила позволяют, напротив, разрабатывать социологию, которая вела бы существенное условие всякой совместной жизни в духе дисциплины, основывая его в то же время на разуме и истине.

ГЛАВА VI ПРАВИЛА, КАСАЮЩИЕСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

У нас есть только одно средство доказать, что одно явление служит причиной другого: это сравнить случаи, когда они одновременно присутствуют или отсутствуют, и посмотреть, не свидетельствуют ли изменения, представляемые этими различными комбинациями обстоятельств, о том, что одно зависит от другого. Когда они могут быть воспроизведены искусственно, по воле исследователя, метод является экспериментальным в собственном смысле этого слова. Когда же, наоборот, создание фактов от нас не зависит и мы можем сравнивать лишь факты, возникшие самопроизвольно, тогда употребляемый метод является косвенно экспериментальным или сравнительным.

Мы видели, что социологическое объяснение заключается исключительно в установлении причинной связи, или в открытии причины явления, или в определении полезных следствий данной причины. С другой стороны, так как социальные явления, очевидно, ускользают от влияния исследователя, то сравнительный метод — единственно пригодный для социологии. Конт, правда, нашел его недостаточным и счел необходимым дополнить его тем, что он называет историческим методом, но причиной такого взгляда является особое понимание им социологических законов. Последние, по его мнению, должны выражать главным образом не определенные отношения причинности, а то направление, в котором движется человеческая эволюция в целом. Они не могут быть, следовательно, открыты при помощи сравнений, ибо, для того чтобы иметь возможность сравнивать разные формы, принимаемые социальным явлением у различных народов,

нужно сперва отделить их от их преходящих форм. Но если начать с такого Дробления развития человечества, то окажется невозможным определять его направление. Для того чтобы определить последнее, нужно начинать не с анализа, а с широкого синтеза. Нужно сблизить и соединить в одном и том же интуитивном знании последовательные стадии развития человечества так, чтобы заметить «постоянное развитие каждого физического, интеллектуального, морального и политического предрасположения»¹. Таково основание этого метода, который Конт называет историческим и который становится беспредметным, если не принять основной концепции кантовской социологии.

Правда, Милль объявляет экспериментальный метод, даже косвенный, неприменимым в социологии, но его аргументация утрачивает значительную долю своей силы оттого, что он применяет ее также к биологическим явлениям и даже к наиболее сложным физико-химическим фактам², но теперь уже излишне доказывать, что химия и биология могут быть только экспериментальными науками. Нет, следовательно, причины считать обоснованными и суждения Милля, касающиеся социологии, потому что социальные явления отличаются от предыдущих лишь большей сложностью. Вследствие этого различия применение экспериментального метода в социологии может представлять больше трудностей, чем в других науках, но не ясно, почему оно совсем невозможно.

¹ Cours de philosophie positive, IV, p. 328.

² Systeme de Logique, II, p. 478.

Впрочем, вся эта теория Милля покоится на постулате, связанном, несомненно, с основными принципами его логики, но противоречащем всем выводам науки. Действительно, он признает, что одно и то же следствие не всегда вытекает из одной и той же причины, а может зависеть то от одной причины, то от другой. Это представление о причинной связи, отнимая у нее всякую определенность, делает ее почти недоступной научному анализу, потому что вносит такую сложность в переплетающуюся цепь причин и следствий, что разум теряется в ней безвозвратно. Если следствие может вытекать из разных причин, то, для того чтобы узнать, что определяет его в данной совокупности обстоятельств, нужно было бы произвести опыт в практически неосуществимых условиях его изоляции, особенно в социологии.

Но эта пресловутая аксиома множественности причин есть отрицание принципа причинности. Конечно, если согласиться с Миллем, что причина и следствие абсолютно гетерогенны, что между ними не существует никакой логической связи, то нет никакого противоречия в том, чтобы допустить, что какое-нибудь следствие может вытекать то из одной, то из другой причины. Если связь, соединяющая C с A , чисто хронологическая, то она не исключает другую связь того же рода, которая соединила бы, например, C с B . Если же, наоборот, причинная связь есть нечто доступное пониманию, то она не может быть настолько неопределенна. Если она представляет собой отношение, вытекающее из природы вещей, то одно и то же следствие может находиться в зависимости только от одной причины, так как оно может выразить лишь одну сущность. Но только философы сомневались в познаваемости причинной связи. Для ученого она очевидна и предполагается самым методом науки. Как иначе объяснить и столь важную роль дедукции в экспериментальных науках, и основной принцип пропорциональности между причиной и следствием? Что же касается тех случаев, которые приводятся в подтверждение и в которых будто бы наблюдается множественность причин, то, для того чтобы они имели доказательную силу, нужно было бы предварительно установить или то, что эта множественность не просто кажущаяся, или что внешнее единство следствия не скрывает в себе действительной множественности. Сколько раз науке приходилось сводить к единству причины, множественность которых казалась на первый взгляд несомненной! Стюарт Милль сам дает пример этого, указывая, что согласно современным теориям производство теплоты трением, ударом, химическим действием и т. д. вытекает из одной и той же причины. Наоборот, когда дело касается следствия, ученый часто различает то, что

смешивает воедино непосвященный. По ходячим воззрениям, слово «лихорадка» обозначает одну и ту же болезнь, для науки же существует множество специфически различных лихо-Радок и множественность причин находится в свяи со множественностью следствий. Если же между всеми этими нозологическими видами существует нечто общее, то это потому, что причины их тоже сходны в некоторых своих свойствах.

Тем важнее изгнать этот принцип из социологии, что многие социологи до сих пор находятся под его влиянием, даже тогда, когда они не возражают против применения сравнительного метода. Так, обыкновенно говорят, что преступление может быть одинаково вызвано самыми различными причинами; что то же самое относится к самоубийству, наказанию и т. д. Если вести опытное исследование в таком направлении, то, как бы много фактов мы ни собрали, мы никогда не получим точных законов, определенных причинных связей. В таких условиях можно лишь связать плохо определенное следствие со смешанной и неопределенной группой причин. Если, следовательно, применять сравнительный метод научно, т. е. сообразуясь с тем принципом причинности, который сформировался в самой науке, то за основание осуществляемых сравнений нужно взять следующее положение: *одному и тому же следствию всегда соответствует одна и та же причина*. Так, учитывая вышеприведенные примеры, если самоубийство зависит от нескольких причин, то это значит, что в действительности существует несколько видов самоубийств. То же самое можно сказать и о преступлении. Для наказания же, наоборот: признать, что оно одинаково хорошо объясняется различными причинами,— значит не замечать общего всем его antecedентам элемента, в силу которого они и производят свое общее следствие³.

³ De la division du travail social, p. 87.

II

Если, однако, различные приемы сравнительного метода и применимы в социологии, то не все они имеют в ней одинаковую доказательную силу.

Так называемый метод остатков, хотя и составляет одну из форм экспериментального метода, не имеет, однако, никакого применения в изучении социальных явлений. Он может иметь место лишь в довольно развитых науках, так как предполагает знание большого числа законов; притом социальные явления слишком сложны для того, чтобы в каком-либо определенном случае можно было бы точно вычестть действие всех причин, кроме одной.

Та же причина делает затруднительным применение метода совпадения и метода различия. Действительно, они предполагают, что сравниваемые случаи или совпадают, или различаются только в одном пункте. Конечно, нет науки, которая была бы в силе когда-либо произвести опыты, относительно которых было бы неопровержимо установлено, что они совпадают или различаются только в одном пункте. Никогда нельзя быть уверенным, что не пропущено какое-нибудь обстоятельство, совпадающее или различающееся так же и в то же время, как и единственное известное. Между тем, хотя полное исключение всякого случайного элемента является идеалом, которого в действительности нельзя достигнуть, фактически физико-химические и даже биологические науки приближаются к нему настолько, что в значительном числе случаев доказательство в них может считаться практически достаточным. Совсем иное дело в социологии вследствие слишком большой сложности явлений и связанной с ней невозможностью произвести искусственный опыт. Как нельзя составить даже приблизительно полный перечень всех фактов, сосуществующих в данном обществе или преемственно сменявших друг друга в его истории, так никогда нельзя быть даже в малой степени уверенным, что два народа совпадают или различаются во всех отношениях, кроме одного. Шансов пропустить какое-нибудь явление больше, нежели шансов заметить

их все. Следовательно, такой метод доказательства может породить лишь предположения, которые сами по себе почти совсем лишены всякого научного характера.

Но совсем другое дело — метод сопутствующих изменений. Действительно, для того чтобы он имел доказательную силу, не нужно, чтобы все изменения, отличные от сравниваемых, были строго исключены. Простая параллельность изменений, совершающихся в двух явлениях, если только она установлена в достаточном числе разнообразных случаев, служит доказательством существования между ними причинного отношения.

Преимущество этого метода заключается в том, что с его помощью причинная связь постигается не извне, как в предыдущих методах, а изнутри. Он обнаруживает нам не просто внешнюю связь двух фактов, при которой они сопровождают или исключают⁴ друг друга, но при которой ничто прямо не доказывает наличия внутренней связи между ними.

⁴ В случае метода различия отсутствие причины исключает присутствие следствия.

Наоборот, он обнаруживает нам причастность друг другу, и причастность постоянную по крайней мере, в значительном масштабе. Уже одной этой причастности достаточно, чтобы доказать, что они не чужды друг другу. Способ развития какого-нибудь явления выражает его сущность; для того чтобы процессы развития двух явлений соответствовали друг другу, необходимо соответствие выражаемых ими сущностей. Постоянное сосуществование изменений, следовательно, само по себе есть закон, каково бы ни было состояние явлений, остающихся вне сравнения. Поэтому, чтобы опровергнуть его, недостаточно показать, что он опровергается некоторыми отдельными случаями применения метода совпадения или различия. Это значило бы приписать этому роду доказательств такое значение, какого они не могут иметь в социологии. Когда два явления регулярно изменяются параллельно друг другу, следует признавать между ними это отношение даже тогда, когда в некоторых случаях одно из этих явлений появилось без другого, так как может быть так, что или действие причины на следствие было прервано воздействием противоположной причины, или же что следствие налицо, но в другой форме, нежели та, которую наблюдали ранее. Конечно, есть повод пересмотреть заново факты, но не надо отбрасывать сразу результаты правильно осуществленного доказательства.

Правда, законы, обнаруживаемые этим методом, не всегда представляются сразу в форме отношений причинности. Совпадение изменений может зависеть не от того, что одно явление есть причина другого, а от того, что оба они — следствия одной и той же причины, или от того, что между ними существует третье, промежуточное, но незамеченное явление, которое есть следствие первого и причина второго. Результаты, к которым приводит этот метод, должны быть, следовательно, подвергнуты интерпретации. Но какой же экспериментальный метод позволяет открыть причинное отношение механически, без того чтобы установленные им факты не нуждались в обработке разумом? Важно только, чтобы эта обработка велась методическим образом. Метод, пригодный для нее, следующий. Вначале надо посредством дедукции обнаружить, каким образом одно из двух явлений могло произвести другое; затем надо постараться проверить результаты этой дедукции при помощи опытов, т. е. новых сравнений. Если дедукция возможна и проверка удалась, то доказательство можно считать оконченным. Наоборот, если между этими фактами мы не заметим никакой прямой связи, особенно если гипотеза такой связи противоречит уже доказанным законам, то нужно приняться за разыскание третьего явления, от которого оба другие одинаково зависят или которое могло бы служить промежуточным звеном между ними. Можно установить, например, самым достоверным образом, что склонность к самоубийству изменяется параллельно со стремлением к образованию, но невозможно понять, как образование ведет к самоубийству; такое объяснение противоречило бы законам психологии. Образование, особенно сведенное к элементарным познаниям, затрагивает лишь самые поверхностные

области сознания; наоборот, инстинкт самосохранения — одна из наших основных склонностей. Следовательно, он не может быть чувствительно затронут столь отдаленным и слабо отражающимся фактором. Таким образом, возникает вопрос, не представляют ли собой оба факта следствия одной и той же причины. Этой общей причиной является ослабление религиозного традиционализма, которое одновременно усиливает потребность в знании и склонность к самоубийству.

Существует еще одна причина, делающая метод сопутствующих изменений главным орудием социологических исследований. Действительно, даже при наиболее благоприятных для них обстоятельствах другие методы могут применяться с пользой лишь тогда, когда число сравниваемых фактов очень значительно. Хотя и нельзя найти двух обществ, сходных или различающихся лишь в одном пункте, однако можно, по крайней мере, установить, что два факта очень часто сопровождают или исключают друг друга. Но, для того чтобы такая констатация имела научную ценность, нужно, чтобы она была многократно подтверждена, нужно быть почти уверенным, что все факты были рассмотрены. Однако столь полный перечень не только невозможен, но и факты, собранные таким образом, не могут быть установлены с достаточной точностью именно потому, что они слишком многочисленны. В таких условиях не только рискуешь проглядеть факты весьма существенные и противоречащие уже известным, но нельзя быть вполне уверенным и в надлежащем знании последних. Рассуждения социологов часто многое теряли оттого, что, применяя методы совпадения или различия, особенно первый, они больше занимались собиранием документов, чем их критикой и отбором. Так, они постоянно ставят на одну доску путаные и поспешные наблюдения путешественников и точные исторические документы. Относительно подобных доказательств можно сказать не только, что достаточно одного факта, чтобы опровергнуть их, но и что сами факты, на которых они основаны, не всегда внушают доверие.

Метод сопутствующих изменений не принуждает нас ни к таким неполным перечислениям, ни к поверхностным наблюдениям. Для того чтобы он дал результаты, достаточно нескольких фактов. Как только доказано, что в известном числе случаев два явления изменяются одинаково, можно быть уверенным, что в данном случае имеется некий закон. Так как нет необходимости, чтобы данные были многочисленны, то они могут быть тщательно отобраны и изучены социологом. Главным предметом своих индукций он может, и потому должен, сделать те общества, верования, традиции, нравы и право которых воплотились в достоверных письменных памятниках. Конечно, он не станет пренебрегать и данными этнографии (нет таких фактов, которыми мог бы пренебрегать ученый), но он поставит их на подобающее им место. Вместо того чтобы делать их центром тяжести своих исследований, он воспользуется ими лишь в качестве дополнения фактов, взятых из истории, по крайней мере он попытается подтвердить их последними. Он не только более тщательно ограничит область своих сравнений, но и будет относиться к ним более критически, так как уже вследствие того, что он обратится к ограниченному числу фактов, он сможет контролировать их более внимательно. Конечно, ему не надо переделывать работу историков, но он не может также пассивно воспринимать отовсюду нужные ему сведения.

Не нужно, однако, думать, что социология стоит значительно ниже других наук, потому что она может пользоваться лишь одним опытным методом. На самом деле это неудобство компенсируется богатством видоизменений, доступных сравнению социолога, богатством, не встречающимся ни в какой другой сфере природы. Изменения, происходящие в индивидуальном организме в процессе его существования, малочисленны и очень ограничены; те, которые можно вызвать искусственно, не разрушая жизни, также заключены в тесные пределы. Правда, в ходе зоологической эволюции возникали и более важные изменения, но от них остались лишь редкие и неясные следы, и крайне трудно найти вызвавшие их условия. Наоборот, социальная жизнь есть непрерывный ряд изменений, параллельных другим изменениям в условиях коллективного существования,

и в нашем распоряжении находятся данные не только об изменениях ближайшей эпохи, но и о многих изменениях, пережитых уже исчезнувшими народами. Несмотря на все пробелы, история человечества более полна и ясна, чем история животных видов. Кроме того, существует масса социальных явлений, происходящих на всем пространстве общества, но принимающих различные формы в зависимости от местности, профессии, вероисповедания и т. д. Таковы, например, преступление, самоубийство, рождаемость, брак, накопление и пр. Из разнообразия окружающей их среды для каждого из этих категорий факта вытекает новый ряд видоизменений помимо производимых исторической эволюцией. Следовательно, если социологи не могут применять с одинаковым успехом все приемы экспериментального исследования, то почти единственный метод, которым они должны пользоваться, может быть весьма плодотворен в их руках, так как в процессе его применения он располагает несравненными ресурсами. Однако он дает надлежащие результаты лишь в том случае, если применяется с величайшей точностью. Если, как это часто случается, довольствуются тем, что с помощью более или менее многочисленных примеров показывают, что в отдельных случаях факты изменились так, как того хочет гипотеза, то этим, собственно, ничего не доказывают. Из этих спорадических и отрывочных совпадений нельзя сделать никакого общего вывода. Иллюстрировать какую-нибудь идею примерами — не значит доказать ее. Нужно сравнивать не изолированные изменения, но регулярно устанавливаемые и достаточно длинные ряды изменений, которые примыкали бы друг к другу возможно полнее. Потому что из изменений данного явления можно вывести закон лишь тогда, когда они ясно выражают процесс развития этого явления при данных обстоятельствах. А для этого нужно, чтобы между ними была такая же последовательность, как между различными моментами естественной эволюции, и чтобы, кроме того, представляемый ими процесс был достаточно продолжительным, чтобы его направление не оставляло сомнений.

III

Способ построения этих рядов, однако, различен, смотря по обстоятельствам. Они могут содержать в себе факты, взятые в одном обществе, или во многих обществах одного и того же вида, или у нескольких различных социальных видов.

Первый прием достаточен, когда дело касается фактов, очень распространенных и относительно которых мы имеем достаточно полную и разнообразную статистическую информацию. Сопоставляя, например, кривую, выражающую движение самоубийств в течение достаточно длительного периода времени, с видоизменениями того же явления по провинциям, классам, сельским или городским поселениям, полу, возрасту, гражданскому положению и т. д., можно, даже не распространяя своих исследований за пределы одной страны, установить настоящие законы, хотя всегда лучше подтвердить эти результаты наблюдениями над другими народами того же вида. Но столь ограниченными сравнениями можно довольствоваться лишь тогда, когда изучают какое-нибудь из тех социальных течений, которые распространены во всем обществе, видоизменяясь в разных местах. Когда же, наоборот, дело касается института, юридического или нравственного правила, установившегося обычая, которые одни и те же и функционируют одинаково на всем пространстве страны, изменяясь лишь во времени, тогда нельзя ограничиться изучением одного народа. В противном случае предметом доказательства служила бы лишь одна пара параллельных кривых, а именно кривых, выражающих историческое развитие рассматриваемого явления и предполагаемой причины, но в данном обществе, и только в нем. Конечно, параллелизм, если он постоянен, является уже значительным фактом, но сам по себе он не может служить доказательством.

Вводя в пределы исследования несколько народов одного и того же вида, мы располагаем уже более широким полем для сравнения. Вначале можно сопоставить историю одного народа с историей других и посмотреть, не развивается ли у каждого из них одно и то же явление под воздействием одинаковых условий. Затем можно сравнить эти различные

процессы развития данного явления. Так, например, можно определить форму, принимаемую данным явлением в различных обществах в тот момент, когда его развитие достигает своего апогея. Так как эти общества, несмотря на то что принадлежат к одному и тому же типу, все-таки являются различными индивидуальностями, то форма эта не везде одна и та же; она выражается более или менее отчетливо, смотря по обстоятельствам. Таким образом, мы получаем новый ряд изменений, которые можно сравнить с изменениями, вызванными предполагаемым условием в то же время и в каждой из этих стран. Так, проследив эволюцию патриархальной семьи в истории Рима, Афин и Спарты, можно распределить эти государства по максимальной степени развития, Достигаемого в каждом из них этим семейным типом, и затем посмотреть, различаются ли они подобным же образом и по характеру социальной среды, от которой, по-видимому, зависит данное явление согласно первому наблюдению.

Но сам по себе этот метод недостаточен. Действительно, он применим лишь к явлениям, возникшим во время жизни сравниваемых народов. Но общество не создает совершенно заново свою организацию, оно получает ее отчасти от обществ, ему предшествовавших. То, что передано ему таким образом, не является продуктом его исторического развития и потому не может быть объяснено, если не выйти за пределы вида, представителем которого является данное общество. Так может рассматриваться лишь то, что выработано данным обществом в дополнение и изменение этой первоосновы. Но чем выше поднимаемся мы по социальной лестнице, тем ничтожнее становятся черты, вырабатываемые каждым народом по сравнению с переданными ему признаками. Таково, впрочем, условие всякого прогресса. Так, новые элементы, внесенные нами в семейное право, в право собственности, в нравственность, с самого начала нашей истории относительно малочисленны и мало значительны по сравнению с тем, что нам завещано историей. Происходящие нововведения не могут быть поэтому поняты, если не изучены сначала эти более фундаментальные явления, послужившие им корнями, а последние могут быть изучены лишь с помощью гораздо более широких сравнений. Для того чтобы иметь возможность объяснить современное состояние семьи, брака, собственности и т. д., надо узнать, каково их происхождение, каковы простейшие элементы, из которых состоят эти институты, а эти вопросы сравнительная история великих европейских обществ не может прояснить. Надо пойти дальше.

Следовательно, чтобы объяснить социальный институт, принадлежащий к определенному виду, надо сравнить различные формы, принимаемые им, не только у народов этого вида, но и во всех предшествующих видах. Допустим, например, что дело касается семейной организации. Сначала надо определить самый рудиментарный тип ее, какой только когда-либо существовал, и затем проследить шаг за шагом, как он прогрессивно усложнялся. Этот метод, который можно назвать генетическим, дал бы одновременно и анализ и синтез явления. С одной стороны, он показал бы нам его элементы в разъединенном состоянии уже тем, что выявил бы, как они постепенно присоединяются друг к другу. С другой стороны, благодаря широкому полю сравнения он лучше способен определить условия, от которых зависит формирование и соединение этих элементов. *Следовательно, объяснить сколько-нибудь сложный социальный факт можно, только проследив весь процесс его развития во всех социальных видах.* Сравнительная социология не является особой отраслью социологии; это сама социология, поскольку она перестает быть чисто описательной и стремится объяснять факты. В процессе этих обширных сравнений часто допускается ошибка, приводящая к неверным результатам. Случалось, что для определения направления, в котором развиваются социальные явления, просто сравнивали то, что происходит при упадке каждого вида, с тем, что возникает в начале следующего вида. Действуя таким образом, считали возможным утверждать, например, что ослабление религиозных верований и всякого традиционализма всегда могло быть лишь кратковременным явлением в жизни народов, потому что оно появляется только в последний период их существования, с тем чтобы исчезнуть, как только развитие возобновится. Но

при таком подходе рискуют принять за постоянную и необходимую поступь прогресса то, что является следствием совсем иной причины. Действительно, состояние, в котором находится молодое общество, не есть простое продолжение состояния, к которому в конце своего существования пришли сменяемые им общества; это состояние отчасти проистекает из самой молодости, препятствующей полному и немедленному усвоению и использованию результатов опыта, достигнутого предшествующими народами. Подобным образом ребенок получает от своих родителей склонности и предрасположения, которые в его жизни вступают в действие довольно поздно. Если вновь обратиться к тому же примеру, то возможно предположить, что Указанный возврат к традиционализму, наблюдаемый в начале истории каждого общества, определяется не тем, что попятное движение того же явления должно быть быстротечным, но особыми условиями, в которых находится всякое общество, начинающее свое развитие. Сравнение может быть доказательным только в том случае, если исключен искажающий его фактор различий в возрасте. Чтобы этого достигнуть, *достаточно рассматривать сравниваемые общества в один и тот же период их развития*. Таким образом, чтобы узнать, в каком направлении эволюционирует социальное явление, нужно сравнивать его в период молодости каждого вида с тем, чем оно становится в период молодости следующего вида; и в зависимости от того, будет ли оно от одного из этих этапов к другому более, менее или столь же интенсивным, можно будет сказать, прогрессирует оно, регрессирует или сохраняется в том же состоянии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом изложенный метод отличается следующими признаками.

Во-первых, он независим от всякой философии. Так как социология возникла из великих философских доктрин, то она сохранила привычку опираться на какую-нибудь систему, с которой она, таким образом, оказывается связанной. Поэтому она была последовательно позитивистской, эволюционистской, спиритуалистской, тогда как она должна довольствоваться тем, чтобы быть просто социологией. Мы не решились бы даже назвать ее натуралистской, если только этим термином не обозначать то, что она считает социальные факты объяснимыми естественными причинами. А в этом случае эпитет довольно бесполезен, так как он просто указывает на то, что социолог — не мистик и занимается наукой. Но мы отвергаем это слово, если ему придается доктринальное значение, касающееся сущности социальных явлений, если, например, подразумевается, что последние могут быть сведены к другим космическим силам. Социологии не следует принимать сторону какой-нибудь из великих метафизических гипотез. Ей не нужно утверждать ни свободы, ни детерминизма. Она требует только признания, что к социальным явлениям применим принцип причинности. Даже этот принцип она выдвигает не как непреложный постулат разума, а как постулат эмпирический, результат правомерной индукции. Так как закон причинности признан для других областей природного царства и признание его господства постепенно расширялось, распространялось от мира явлений физико-химических на явления биологические, от последних — на мир явлений психических, то мы вправе допустить, что он также верен и для мира социального. И можно добавить к этому, что исследования, предпринятые на основе этого постулата, судя по всему, его подтверждают. Но вопрос, исключает ли природа причинной связи всякую случайность, этим еще не решается. К тому же сама философия весьма заинтересована в этом освобождении социологии. Пока социолог не освободился вполне от влияния философа, он рассматривает социальные явления только с их наиболее общей стороны, с той, с которой они более всего походят на другие явления вселенной. Если же, находясь в таком положении, социология и может иллюстрировать философские положения любопытными фактами, то она не может обогатить ее новыми взглядами, поскольку не обнаруживает ничего нового в изучаемом объекте. Но в действительности, если основные факты других областей обнаруживаются и в сфере

социальных явлений, то лишь в особых формах, делающих их природу более понятной, потому что они являются высшим ее выражением. Только, для того чтобы видеть их с этой стороны, нужно выйти за пределы общих положений и обратиться к детальному изучению фактов. Таким образом, социология, по мере того как она будет специализироваться, будет доставлять все более оригинальный материал для философского размышления. Уже предшествующее изложение могло показать, что такие существенные понятия, как вид, орган, функция, здоровье, болезнь, причина, цель, предстают в совершенно новом свете. К тому же разве не социология призвана наиболее рельефно выразить идею ассоциации, которая может быть основанием не только психологии, но и целой философии?

Относительно практических учений наш метод позволяет и рекомендует ту же независимость. Социология, понимаемая таким образом, не будет ни индивидуалистической, ни коммунистической, ни социалистической в том значении, которое обыкновенно придается этим словам. Она принципиально будет игнорировать эти теории, за которыми не может признать научной ценности, поскольку они прямо стремятся не выражать, а преобразовывать факты. По крайней мере, если она и заинтересуется ими, то лишь в той мере, в какой увидит в них социальные факты, которые могут помочь ей понять социальную реальность, обнаруживая потребности, волнующие общество. Это не значит, впрочем, что она не должна интересоваться практическими вопросами. Наоборот, можно было заметить, что мы постоянно стараемся ориентировать ее таким образом, чтобы она могла делать практические выводы. Она непременно сталкивается с этими проблемами в конце своих исследований. Но уже благодаря тому, что они возникают перед ней только в этот момент и, следовательно, выводятся из фактов, а не из страстей, то можно предвидеть, что они предстают перед социологом в совершенно ином виде, чем перед толпой, и что предлагаемые им решения, впрочем частичные, не могут вполне совпадать с решениями какой-либо партии. Но с этой точки зрения роль социологии должна состоять именно в том, чтобы освободить нас от всех партий, не столько противопоставляя одну доктрину другим, сколько приучая умы занимать по отношению к этим вопросам особую позицию, которую может внушить только наука посредством прямого соприкосновения с вещами. Только она может научить относиться с уважением, но без фетишизма к исторически сложившимся институтам, каковы бы они ни были, указывая нам, что в них необходимого и временного, какова их прочность и бесконечная изменчивость.

Во-вторых, наш метод объективен. Он весь проникнут идеей, что социальные факты суть вещи и должны рассматриваться как таковые. Конечно, этот принцип встречается в несколько иной форме и в основе доктрин Конта и Спенсера. Но эти великие мыслители скорее дали его теоретическую формулу, чем применили его на практике. Для того чтобы он не остался мертвой буквой, недостаточно было провозгласить его, нужно было сделать его основанием дисциплины, которая завладела бы ученым в тот самый момент, когда он приступает к предмету своих исследований, и которая постоянно сопровождала бы его во всех его попытках. Именно за установление такой дисциплины мы и взялись. Мы показали, как социолог должен устранять имеющиеся у него заранее понятия о фактах, чтобы стать лицом к лицу с самими фактами; как он должен находить их по их наиболее объективным признакам и в них самих искать признаки для разделения их на здоровые и болезненные; как, наконец, он должен проникнуться тем же принципом и в даваемых им объяснениях, и в способе доказательств этих объяснений. Понимая, что имеют дело с вещами, не станут уже объяснять их утилитарными расчетами или какими бы то ни было рассуждениями.

Тогда становится слишком очевидным разрыв между подобными причинами и следствиями. Вещь есть сила, которая может быть порождена только другой силой. Следовательно, для того чтобы объяснить социальные факты, нужно найти энергии, способные произвести их. При таких условиях изменяются не только объяснения, но и

процесс их доказательства или, точнее, лишь тогда чувствуют необходимость доказывать их. Если социологические явления суть лишь системы объективированных идей, то объяснить их — значит вновь рассмотреть эти идеи в их логическом порядке, и такое объяснение является своим собственным доказательством; самое большее, что остается сделать, — это подтвердить его несколькими примерами. Наоборот, лишь методически правильными опытами можно проникнуть в тайну вещей.

Но если мы и рассматриваем социальные факты как вещи, то как *вещи социальные*. Третья характерная черта нашего метода состоит в том, что он является исключительно социологическим. Часто казалось, что эти явления вследствие своей чрезвычайной сложности или вовсе не поддаются научному исследованию, или могут стать объектом его, лишь будучи сведены к своим элементарным условиям, психическим или органическим, т. е. утратив свойственный им характер. Мы же, наоборот, попытались доказать, что их можно изучать научно, не лишая их специфических свойств. Мы даже отказались свести характерную для них нематериальность *sui generis* к сложной нематериальности психологических явлений; тем более мы не позволили себе по примеру итальянской школы растворить ее в общих свойствах организованной материи¹.

¹ Поэтому неправильно называли наш метод материалистическим.

Мы показали, что социальный факт можно объяснить только другим социальным фактом, и в то же время мы показали, как этот вид объяснения возможен, признав внутреннюю социальную среду главным двигателем социальной эволюции. Социология, следовательно, не есть приложение к какой-либо другой науке; она представляет собой особую и автономную науку, и ощущение специфики социальной реальности настолько необходимо социологу, что только особая социологическая культура может привести его к пониманию социальных фактов.

Мы считаем, что это самый важный шаг, который остается сделать социологии. Конечно, когда наука находится в процессе зарождения, для создания ее бывают вынуждены обращаться к единственным существующим моделям, т. е. к наукам, уже сложившимся. Там находятся сокровища уже проделанных опытов, не воспользоваться которыми было бы безумием. Тем не менее наука может считаться окончательно установленной только тогда, когда она стала независимой. В самом деле, она имеет право на существование лишь тогда, когда предметом ее служит категория фактов, не изучаемая другими науками. Невозможно, однако, чтобы одни и те же понятия были бы одинаково пригодны для разных по сути вещей.

Таковы, по нашему представлению, принципы социологического метода.

Эта совокупность правил покажется, быть может, излишне сложной по сравнению с обыкновенно используемыми приемами. Все эти приготовления и предосторожности могут показаться весьма затруднительными для науки, до сих пор требовавшей от лиц, посвящавших ей себя, лишь общей и философской культуры. И действительно, применение подобного метода на практике не может увеличить интерес к социологическим предметам. Когда от людей требуется в качестве основного предварительного условия, чтобы они отрешились от тех понятий, которые они привыкли прилагать к какому-то разряду явлений, чтобы они заново пересмотрели их, нельзя рассчитывать найти многочисленных последователей. Но мы стремимся не к этому. Мы, наоборот, думаем, что для социологии настал момент отказаться от, так сказать, светских успехов и обрести эзотерический характер, приличествующий всякой на-Уке. Таким образом она выиграет в достоинстве и авторитете настолько, насколько, быть может, проиграет в популярности. В самом деле, пока она остается втянутой в борьбу партий, пока она довольствуется лишь тем, что обрабатывает с большей логикой, чем толпа, общепринятые идеи и потому, следовательно, не требует никакой особой квалификации, она не вправе говорить так громко, чтобы заставить умолкнуть страсти и предрассудки.

Конечно, еще далеко то время, когда она сможет выполнить эту задачу, но нам нужно трудиться уже теперь, чтобы когда-нибудь она была в состоянии ее осуществить.

Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТ?

Социальный факт не может определяться своей распространенностью в обществе. Отличительные признаки социального факта: 1) его внешнее существование по отношению к индивидуальным сознаниям; 2) принудительное воздействие, которое он оказывает или способен оказывать на те же сознания. Применение этого определения к устоявшимся обычаям и социальным течениям. Проверка этого определения.

Другой способ характеристики социального факта: состояние независимости по отношению к его индивидуальным проявлениям. Применение этой характеристики к устоявшимся обычаям и социальным течениям. Социальный факт распространяется потому, что он социален, а не социален потому, что распространен. Как это второе определение входит в первое.

Как факты социальной морфологии входят в это определение. Общая формула социального факта.

ГЛАВА II

ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НАБЛЮДЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОВ

Основное правило: рассматривать социальные факты как вещи.

I- Идеологическая фаза, которую проходят все науки и в которой они вырабатывают обыденные и практические понятия, вместо того чтобы описывать и объяснять вещи. Почему эта фаза должна в социологии быть еще продолжительнее, чем в других науках. Факты, взятые из социологии Конта, Спенсера, из современной этики и политической экономики и Демонстрирующие, что эта стадия еще не пройдена.

Причины, по которым она должна быть пройдена: 1) социальные факты должны рассматриваться как вещи потому, что они представляют собой непосредственные данные науки, тогда как идеи, развитием которых, как считается, они являются, непосредственно не даны; 2) все они имеют признаки вещи.

Сходство этой реформы с той, которая недавно преобразовала психологию. Основания надеяться на быстрый прогресс социологии в будущем.

II. Непосредственные короллары предыдущего правила.

1) Устранить из науки все предпонятия. О мистической точке зрения, противостоящей применению этого правила.

2) Способ установления позитивного объекта исследования: группировка фактов по их общим внешним признакам. Социальные отношения, сформированные таким образом, с обыденным понятием. Примеры ошибок, допускаемых из-за пренебрежения этим правилом или его неверного применения; Спенсер и его теория эволюции брака; Гарофало и его определение преступления; распространенное заблуждение, согласно которому в низших обществах нет морали. О том, что внешний характер признаков, входящих в первоначальное определение, не составляет препятствия для научных объяснений.

3) Кроме того, эти внешние признаки должны быть объективными настолько, насколько это возможно. Средство достижения этого: выявлять социальные факты с той стороны, где они больше всего отделены от своих индивидуальных проявлений.

ГЛАВА III

ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАЗЛИЧЕНИЮ НОРМАЛЬНОГО И ПАТОЛОГИЧЕСКОГО

Теоретическая и практическая польза этого различия. Оно необходимо в науке для того, чтобы она могла служить управлению поведением.

I. Рассмотрение обычно используемых критериев: страдание не есть отличительный признак болезни, так как оно составляет элемент здорового состояния; то же самое относится к уменьшению шансов на выживание, так как оно иногда происходит из-за нормальных фактов (старость, роды и т. д.) и не обязательно является результатом болезни. Кроме того, этот критерий чаще всего неприменим, особенно в социологии.

Болезнь, отличающаяся от состояния здоровья, как аномальное от нормального. Средний или специфический тип. Необходимость учета возраста для определения того, является ли факт нормальным или нет.

Как это определение патологического совпадает в целом с обыденным понятием болезни: аномальное - это случайное; почему аномальное обычно представляет собой более низкое « состояние ».

II. Полезность проверки результатов предыдущего метода посредством поиска причин нормальности факта, т. е. его всеобщности. Необходимость такой проверки, когда речь идет о фактах, имеющих место в обществах, не завершивших своего исторического развития. Почему этот второй критерий может использоваться только в качестве дополнительного и во вторую очередь. Краткое изложение правил.

III. Применение этих правил к нескольким случаям, в частности к вопросу о преступности. Почему существование преступности - нормальное явление. Примеры ошибок, совершаемых в случае несоблюдения этих правил. Сама наука становится тогда невозможной.

ГЛАВА IV

ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОСТРОЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ТИПОВ

Различение нормального и аномального включает в себе установление социальных видов. Полезность понятия вида, занимающего промежуточное положение между понятием *genus homo* и отдельного общества.

I. Средство установить их - не в том, чтобы осуществлять монографические описания. Невозможность действовать этим путем. Бесплезность классификации, которая была бы построена подобным образом. Принцип метода, который необходимо применять: различать общества по степени сложности их состава.

II. Определение простого общества; орда. Примеры нескольких способов, которыми простое общество сочетается с такими же, а его части - между собой.

Внутри установленных таким образом видов необходимо различать разновидности согласно тому, сливаются или нет их сегменты. Формулировка правила.

III. Как предыдущее доказывает существование социальных видов. Различия в сущности вида в биологии и в социологии.

ГЛАВА V

ПРАВИЛА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБЪЯСНЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОВ

I. Финалистский характер общепринятых объяснений. Полезность факта не объясняет его существования. Двойственный характер вопросов, связанных с фактами пережитков, с независимостью органа и функции и разнообразием услуг, которые последовательно может оказывать один и тот же институт. Необходимость исследования действующих

причин социальных фактов. Преобладающее значение этих причин в социологии, доказываемое всеобщей распространенностью даже самых мелких социальных обычаев. Действующую причину следует, стало быть, определять независимо от функции. Почему первое исследование должно предшествовать второму. Полезность последнего.

II. Психологический характер общепринятого метода объяснения. Этот метод основан на непризнании особой природы социального факта, который несводим к чисто психическим фактам по определению. Социальные факты могут объясняться только социальными же фактами.

Каким образом это происходит, несмотря на то что общество составлено только из индивидуальных сознаний. Важное значение факта ассоциации, порождающего новое бытие, новый род реальности. Разрыв между социологией и психологией, подобный тому, который существует между биологией и физико-химическими науками.

Применимость этого утверждения к факту формирования общества.

Позитивная связь психических и социальных фактов. Первые представляют собой несформировавшуюся материю, которую преобразует социальный фактор; примеры. Социологи приписывали им более непосредственную роль в генезисе социальной жизни потому, что принимали за чисто психические факты состояния сознания, являющиеся лишь преобразованными социальными явлениями.

Другие доказательства того же положения: 1) Независимость социальных фактов по отношению к этническому фактору, принадлежащему к психо-органической сфере; 2)

Социальная эволюция не объяснима чисто психическими причинами

Краткое изложение правил, касающихся этого вопроса. Поскольку эти правила игнорируются, социологические объяснения носят слишком общий характер, который их дискредитирует. Необходимость собственно социологической подготовки.

III. Первостепенная важность социально-морфологических фактов в социологических объяснениях: внутренняя среда - источник любого сколько-нибудь значимого социального процесса. Преобладающая роль человеческого элемента этой среды. Поэтому задача социологии состоит главным образом в нахождении свойств этой среды, оказывающих наибольшее воздействие на социальные явления. Два вида признаков больше всего соответствуют этому условию: объем общества и динамическая плотность, измеряемая слиянием сегментов. Вторичные внутренние среды; их отношения с общей средой и частными деталями коллективной жизни.

Важное значение понятия социальной среды. Если его отбросить, социология сможет устанавливать не причинные отношения, а только отношения последовательности, не заключающие в себе научного предвидения; примеры Конта и Спенсера. Важность этого же понятия для объяснения того, как полезная ценность социальных обычаев может изменяться и не зависеть при этом от произвольных действий. Связь этого вопроса с вопросом о социальных типах.

О том, что понимаемая таким образом социальная жизнь зависит от внутренних причин.

IV. Общий характер этой социологической концепции. По Гоббсу, связь между психическим и социальным носит синтетический и искусственный характер; согласно Спенсеру и многим экономистам, она является естественной и аналитической. С нашей точки зрения, она является естественной и синтетической. Как согласуются эти два признака. Общие следствия этого.

ГЛАВА VI ПРАВИЛА, КАСАЮЩИЕСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

I. Сравнительный метод, или косвенный эксперимент,- это метод доказательства в социологии. Бесполезность метода, называемого Контом историческим. Ответ на возражения Милля относительно применения сравнительного метода в социологии. Важное значение принципа: *одному и тому же следствию всегда соответствует одна и та же причина.*

II. Почему среди разнообразных вариантов сравнительного метода наилучший инструмент исследования в социологии - метод сопутствующих изменений; его преимущества: 1) он постигает причинную связь изнутри; 2) он позволяет использовать хорошо и критически отобранные данные. О том, что социология, несмотря на использование единственного подхода, не ниже других наук вследствие обилия видоизменений, которыми располагает социолог. Но сравнивать необходимо лишь длительные и обширные ряды изменений, а не отдельные изменения.

III- Различные способы составления этих рядов. Случай, когда входящие в них явления могут быть взяты из одного-единственного общества. Случай, когда нужно брать их из разных обществ, но одного и того же вида. Случай, когда нужно сравнивать различные виды. Почему последний случай - самый распространенный. Сравнительная социология - это социология как таковая. Предосторожности, которые необходимо принять, чтобы избежать ошибок в процессе этих сравнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общие признаки данного метода:

- 1) Его независимость от всякой философии (независимость, полезная самой философии) и от практических учений. Взаимоотношения социологии с этими учениями. Как она позволяет господствовать над партиями.
- 2) Его объективность. Социальные факты, рассматриваемые как вещи. Как этот принцип управляет методом в целом.
- 3) Его социологический характер: объясняемые социальные факты сохраняют свою специфику; социология как самостоятельная наука. О том, что завоевание этой самостоятельности - самое важное достижение, которого социологии необходимо добиться.